

Николай Добролюбов

**Русская цивилизация,
сочиненная г.
Жеребцовым**



Николай Александрович Добролюбов

Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым

Н. А. Жеребцов – публицист славянофильской ориентации, крупный чиновник (в частности, служил вице-директором департамента в Министерстве государственных имуществ, виленским гражданским губернатором, был членом Совета министра внутренних дел). «Опыт истории цивилизации в России» привлек внимание Добролюбова как попытка систематического приложения славянофильских исторических взглядов к конкретному материалу, позволявшая наглядно продемонстрировать их антинаучный характер: произвольное противопоставление разных сторон исторического прогресса – духовной и социальной, односторонний подбор фактов, «подтягивание» их к концепции и т. п. Вместе с тем Добролюбов показал, что за славянофильской фразеологией скрываются аристократические амбиции и феодальные симпатии Жеребцова. Добролюбов чутко уловил усвоение славянофильства официальным сознанием, в рамках которого оно из оппозиционного идейного течения превращалось в расхожее охранительное умонастроение.

Содержание

| | |
|-------------------------|------|
| Статья первая | 0005 |
| Статья вторая | 0086 |
| Примечания | 0205 |

**Николай Александрович
Добролюбов
Русская цивилизация,
сочиненная г. Жеребцовым**

*(Esfai sur l'histoire de la civilisation en
Russie, par Nicolas de Gerebtzoff, Paris,
1858. Два тома)*

*Луна обыкновенно делается в Гамбур-
ге, и прескверно делается.
Гоголь («Записки сумасшедшего»)*

Статья первая

Сочинение г. Жеребцова об истории цивилизации в России представляет собою явление весьма замечательное. Оно назначено автором в руководство иностранцам, которые желали бы иметь истинное и полное понятие о России – об ее истории, нравах, просвещении, законодательстве, вообще о том, как наше отечество развивалось и какой степени достигло в своем развитии. Все это почтенный автор старается объяснить Европе в двух толстых томах (1200 страниц) своего сочинения. Такой объем необходим был потому, что г. Жеребцов обращает речь свою к людям, которых невежество относительно России до того велико, что с ними нельзя ограничиться легким очерком, а надобно прочесть им целый курс. В предисловии к своей книге г. Жеребцов говорит, что «в своих продолжительных путешествиях по всем частям Европы он был поражен тем неведением, какое там обнаруживает большая часть людей, даже образованных, относительно России, не только древней, но и новой». Для оправдания своего

невежества европейцы говорили, что Россия слишком далеко от них находится, а книг для ее изучения у них нет. Есть только Гакстгаузен и Карамзин:{1} но Гакстгаузен неполон, а Карамзин слишком обширен; все же другие сочинения не внушают к себе доверия. «Я решился попытаться пополнить этот пробел», – говорит г. Жеребцов, и плодом этого решения был «Опыт об истории цивилизации в России».

Имея в виду наставление Европы, г. Жеребцов, естественно, должен был писать по-французски. «Но я не мог мыслить и чувствовать иначе, как по-русски, – замечает он, – и потому в стиле моем остался, может быть, отпечаток иностранного происхождения». Действительно, стиль г. Жеребцова недалеко ушел от стиля той дамы, которая писала о своей горничной: «J'ai la laissez sur la liberte, parce qu'elle a bien marche derriere mes enfants» [1]. Но это, по нашему мнению, последнее дело в книге: французы на этот счет очень снисходительны, как известно, – немцы, пожалуй, и не заметят, а англичане если и заметят, так не обратят внимания. Глав-

ное – было бы содержание любопытно. А как же не быть любопытным содержанию такой книги, как сочинение г. Жеребцова. Предмет его чрезвычайно интересен, в особенности для иностранцев, ничего не знающих о России. Объем его позволял автору коснуться всех сторон развития древней и новой Руси, систематически провести свои воззрения на русскую цивилизацию, представить в стройной картине то положение, в какое наконец приведено наше отечество в настоящее время непрерывным ходом своего исторического развития. Все это предметы чрезвычайно интересные, и иностранцы, не знающие автора, могли ожидать, что найдут в его книге вполне основательное и беспристрастное изложение всего, что касается судеб России, тем более что сочинение г. Жеребцова является при обстоятельствах чрезвычайно благоприятных. Эти благоприятные обстоятельства, по нашему мнению, состоят в следующем.

Во-первых – г. Жеребцов издает свой опыт в 1858 году, вскоре после восточной войны, парижского мира{2} и прочих обстоятельств, ожививших наши международные отноше-

ния и установивших у нас несколько новые отношения к Западу. Теперь прошло для нас время бестолкового, слепого подражания *всему* иностранному, прошло и время бесполезного, надутого хвастовства своими, будто бы исключительными, национальными достоинствами. Прошло и для иностранцев время надменного презрения ко *всему* русскому, равно как и то время, когда они боялись русского государства, как скопища диких варваров, готовых остановить всякий прогресс, преградить путь всякой живой идее. В восточной войне мы сходились с ними *начистоту* и под конец решились признать в превосходстве их цивилизации, в том, что нам нужно многому еще учиться у них. И, как только кончилась война, мы и принялись за дело: тысячи народа хлынули за границу, внешняя торговля усилилась с понижением тарифа{3}, иностранцы явились к нам строить железные дороги{4}, от нас поехали молодые люди в иностранные университеты, в литературе явились целые периодические издания, посвященные переводам замечательнейших иностранных произведений{5}, в университе-

тах предполагаются курсы общей литературы, английского и французского судопроизводства и пр. Рядом с этим – и в литературе и в жизни возвышаются голоса против злоупотреблений, издавна вошедших в наш быт, слышатся жалобы на нашу отсталость, апатию, преследуется и выставляется на общий позор наше домашнее зло. Такая минута, как нам кажется, чрезвычайно благоприятна для того, чтобы привлечь общее внимание и любопытство представлением полной и верной картины русского развития. Без ложного стыда, без робких обиняков, без пропусков и умолчаний мог автор говорить обо всем, что задерживало или ускоряло ход русского развития. Отбросив национальные предрассудки и ложнопатриотическую гордость, мог он признать все, чем обязана Россия другим народам и чего еще недостает ей в сравнении с ними. Он мог спокойно и беспристрастно оценить теперь те начала и идеи, которыми определялся ход русского развития, мог откровенно и с очевидною ясностью представить все обстоятельства, доведшие Россию до того состояния, в каком застала ее восточная

война и которого неудобства во многих отношениях мы сами провозгласили открыто и громко. Такая задача давалась автору потребностями минуты, в которую он пишет, и надо признаться, что в эту именно минуту исполнение такой задачи было бы легче, чем когда-нибудь, и вместе с тем имело бы более значения, чем во всякое другое время.

Другое обстоятельство, благоприятствовавшее автору «Опыта истории цивилизации в России», — было то, что он писал свою книгу для Европы и издал в Европе: автор, пишущий о России в самой России, невольно поддается всегда чувству некоторого пристрастия в пользу того, что его окружает, что ему так близко и так с ним связано различными отношениями. По-видимому, наши слова несправедливы именно в настоящее время, когда вся литература наша не только не допускает сладеньких восхвалений, а, напротив, отличается жестокими обличениями всего дурного, что есть у нас. Но, несмотря на всю разительность этого факта, мы признаем решительно несомненным присутствие пристрастия к своему, родному, даже в обличении

тельной нашей литературе последнего времени. Не говорим о лирических местах в самых мрачных произведениях; не говорим ни о героях добродетели, которых, как умеют, стараются выводить наши авторы, ни о счастливых развязках, в которых порок достойно наказывается... Упомянем только об одном, весьма характеристическом обстоятельстве: до сих пор все литературные произведения, написанные в так называемом отрицательном духе, имели характер частный и касались большею частию мелочей. Видно в этих произведениях, что у автора накопилось много желчи, что он многое видел и многое мог бы порассказать. Но как только берется он за перо, чтобы поведать обществу результаты своих дум и опытов, дух родины начинает невидимо носиться над ним, сердце его невольно смягчается, и он ограничивается пустячками, как бы опасаясь тревожить раны более глубокие, которых боль должна же отзываться на нем самом. Таким образом, самое порицание часто парализуется у нас, вследствие влияния чувства совершенно противоположного. Напротив того, дифирамбы наши

нередко доходят до чудовищных размеров. Беспреданно читаешь в русских книгах и даже в некоторых журналах: то «белорусский край щедро наделен всеми дарами природы»; {6} то «в русских деревнях между крестьянками сплошь да рядом встретишь таких красавиц, какие и в Италии чрезвычайно редки»; то «довольные сердца русского народа так сильно бьются, что бой их заглушает звуки колоколов московских»{7}. И все это кажется так естественным, так обыкновенным, что никто и не замечает оригинальности подобных выходов. Зато, напротив, на человека, который решится сказать, что, например, возможно в России существование значительных особ, смешивающих собственные выгоды с казенным интересом, – на такого человека тотчас восстанут его друзья и недруги целым хором: ты, дескать, честь отечества пятнаешь. Бедный автор уж и совсем сконфузится. Иной раз и сказал бы что-нибудь, и именно из желания добра сказал бы, – да испугается: а что, дескать, если это вот такому-то моему приятелю не понравится или вот такой-то благодетель за это рассердится!.. И пропала для обще-

ства полезная правда доброго человека, связанного условиями и приличиями этого же самого общества.

Совсем не в таком положении находится автор, пишущий о России в отдалении от своего отечества. Его взгляд может быть шире, глубже и самостоятельнее. На мелочи он не станет обращать внимания, потому что издали и не видны мелочи. Возвысившись над всеми личностями, он тем свободнее и беспристрастнее может разобрать самую сущность дела. Избавленный от разных мелочных житейских отношений и помех, часто задерживающих не только дело, но и слово, — он может высказывать свои мнения и взгляды прямо, откровенно, не стесняясь никакими личными отношениями. Положение поистине завидное и как нельзя более благоприятное для писателя, желающего принести действительную пользу!..

Есть еще одна сторона, благоприятно располагающая будущих читателей к автору книги о России, выходящей в настоящее время в Европе. Это — свойство самой публики, для которой книга назначается. Предполага-

ется обыкновенно, что объемистое сочинение о России возьмет в руки в Европе человек образованный, имеющий некоторые гражданские убеждения и хотя несколько определенный образ мыслей насчет разных общественных отношений. Для таких читателей нельзя сочинить книги вроде «России» г. Булгарина; {8} им надобно дать что-нибудь получше, и, наверное, автор позаботился об этом... Подобные соображения заранее поднимают автора в глазах читателя, подобно тому как стечение образованной публики в аудитории заранее внушает нам некоторое уважение к профессору, решающемуся читать пред такими слушателями... «Если он осмелится взойти на кафедру с тем, чтобы говорить им вздор, то уж это будет крайнее бесстыдство или самодовольное тупоумие», – думаем мы и по добродушию, свойственному вообще человеческой природе, никак не хотим предположить ни бесстыдства, ни тупоумия, а всё ждем истинного достоинства, пока горьким опытом не убедимся в противном.

Все нами сказанное сводится к следующим мыслям. Предмет, избранный г. Жеребцовым,

важен и интересен сам по себе как для иностранцев, так и для самих русских. Обстоятельства, при которых является книга г. Жеребцова, придают ей еще более интереса, возбуждая любопытство читателей и внушая им уже предварительно доверие к автору. Стоит ему честно воспользоваться своим положением, сделать то, что могут от него ожидать и требовать, и успех книги несомненен. Успеха ее, без всякого сомнения, автор желал и, конечно, для приобретения его делал что мог. Что же именно сделал он и как воспользовался своим положением, это мы и намерены теперь представить нашим читателям.

Из предисловия г. Жеребцова мы уже видим, что сочинение его вызвано патриотическим желанием вразумить иностранцев относительно России. Вследствие этого «Опыт» г. Жеребцова имеет некоторые особенности, своеобразные с его специальною целью. «Я должен был приноровляться к потребностям моих читателей, – говорит он, – и потому я опускал некоторые подробности, интересные, может быть, для моих соотечественников, но скучные для других, и распространялся ино-

гда о вещах, очень хорошо известных в России, но более или менее новых для иностранцев». Такой образ действия совершенно понятен и естествен; но, прочитывая сочинение г. Жеребцова, мы заметили, что не одна степень известности или неизвестности фактов руководила им в его рассказе. Мы заметили у него выбор предметов, подсказанный ему, без сомнения, патриотическими его чувствованиями: преимущественно останавливается г. Жеребцов на тех явлениях нашей истории и жизни, которые ему кажутся хорошими; темные же стороны он большею частию, особенно в древней Руси, указывает очень бегло или даже вовсе о них умалчивает. По нашему мнению, это уже совершенно напрасно, и даже патриотизм мало может извинить автора за представление фактов не совсем в том свете, в каком бы следовало.

Впрочем, едва ли следует ошибки подобного рода складывать на патриотизм. Слово это многими злоупотребляется благодаря тому, что значение его (как и значение многих слов, употребляемых у нас в печати) не совсем определено. Мы не думаем, что далеко

уклонимся от предмета нашего разбора, если, пользуясь случаем, сделаем теперь несколько замечаний о том, какой смысл, по нашему мнению, имеет настоящий патриотизм и что такое часто прикрывается его именем. Патриотизм в своем чистом смысле, как одно из видовых проявлений любви человека к человечеству, вполне естествен и законен. Как чувство темное, бессознательное, он является вместе с первым развитием понятий в ребенке, тотчас, как только он начинает отличать самого себя от внешних предметов. Об этом детском патриотизме не стоит, конечно, говорить как о чем-то важном и прекрасном, но нельзя и не признать его значения в детском и отроческом периоде жизни человека. В первые годы жизни человек еще не умеет мыслить о предметах отвлеченных; тем менее могут быть ему доступны общие начала и вечные законы мировой жизни. В нем есть эгоизм, побуждающий его искать лучшего, и есть, как у всех животных из пород стадящихся, темный инстинкт, подсказывающий, что лучшее-то отыскивается не в одиночестве, не в себе самом, а в обществе других. Дальней-

ший опыт жизни с каждым днем все более подтверждает и проясняет эту темную догадку ребенка, и он начинает уже понимать связь собственного благосостояния с благосостоянием других. Сначала он предается стремлению овладеть чужим благосостоянием для самого себя и в этом находит удовольствие, которое будет продолжаться больше или меньше, смотря по тому, в какой мере окружающая обстановка будет благоприятствовать развитию в нем инстинктов хищной породы. Но при нормальном развитии ребенка эгоизм его недолго обращается на притеснение чужой личности и собственности в пользу своей особы. Скоро он почувствует, что, питая себя лишениями других, он опять становится одиноким, чуждым всему, как будто единственным существом особой породы, имеющим одно специальное назначение – поедать все окружающее. Сознание такого положения тяжело, потому что противно природным инстинктам человека, да и вообще животного. Оттого-то, по замечанию педагогов, эгоизм детей очень недолго остается в грубом виде, при котором нужно только удо-

влетворение личных, исключительно животных потребностей. Как скоро пробуждается мысль и начинает работать рассудок, и самый эгоизм принимает другое направление: для удовлетворения его делаются потребны симпатические отношения с другими. Потребность эта еще более развивается беспредельными услугами и помощью всякого рода, необходимо оказываемыми ребенку от старших. На них-то и обращается прежде всего то чувство любви, которое, естественно, находится в природе каждого человека и которое в дальнейшем своем развитии должно обнять собой все человечество. Небольшой переход нужен отсюда, чтобы перенести ту же любовь и на те предметы, те привычки, понятия и т. п., которые принадлежат любимым людям. Отсюда и происходит та прелесть, которую сохраняют над многими до конца жизни —

*Поля, холмы родные,
Родного неба милый свет,
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет,
И первых лет уроки{9}.*

Порицать за это чувство нельзя и взросло-

го человека, если только он остается в пределах чувства и не принимается резонировать. Обнаруживать посягательство на мою субъективную жизнь никто не имеет права. Кто может упрекнуть меня за то, что во мне пробуждаются светлые воспоминания детства при виде стола, покрытого ярославской набивной скатертью, на котором стоит шипящий самовар, – или при звуках сентиментальной песни: «Выйду ль я на реченьку», с аккомпанементом гитары? Я могу быть смешон для вас, если эти предметы производят на меня более сильное впечатление, нежели какое бы следовало по вашему мнению; но даже и насмешка с вашей стороны будет негуманна в том случае, когда я скромно предаюсь своему субъективному настроению, никого не тревожа. Другое дело, если я начну навязываться другим с своими чувствами, начну требовать, чтобы все окружающие разделяли их. Тогда уже всякий имеет полное право осуждать меня и смеяться над моими фантазиями, потому что они получают объективное значение, подлежащее общему суду. Когда я предъявляю претензию, чтобы и дру-

гие чувствовали то, что я, тогда я признаю уже, следовательно, что предмет, возбуждавший во мне те или другие чувства, действительно способен их возбуждать сам по себе, а не по случайным отношениям, исключительно для меня только имеющим значение. А признавая это, я уже выражаю мнение, с которым другие могут не согласиться и за которое могут признать меня идиотом. Если я захочу, например, чтобы другие непременно восхищались нелепой песней, приятной мне по воспоминаниям детства, то я обнаружу этим, что не признаю ее нелепости, а вижу в ней действительные достоинства. За это, разумеется, и признают меня человеком, не имеющим эстетического вкуса, — чего не могут сказать обо мне только на том основании, что мне лично бывает приятно слышать эту песню. У каждого человека, на какой бы степени развития ни стоял он, всегда остаются кое-какие привычки, пристрастия, воспоминания, от которых сердце его не может совершенно освободиться, хотя рассудком своим он и понимает их нелепость. Этот маленький разлад внутри человека неизбежен по слабо-

сти человеческой натуры, и на него не следует смотреть слишком строго, пока он не выражается во внешней деятельности человека. Но когда он обнаруживается с претензией на то, чтоб детские грезы и другими были принимаемы за истину, тогда его нужно изобличать и преследовать. И при этом изобличении мы уже имеем полнейшее право сказать, не обинуясь, что господин, выказавший подобные претензии, тупоумен, а самые претензии его вредны, так как в них заключается попытка привить и другим свое тупоумие.

Обращаясь теперь к тому, что обыкновенно разумеется у нас под именем патриотизма, мы можем приложить и к нему многое из того, что сказали вообще о впечатлениях детства. В первом своем проявлении патриотизм даже и не имеет другой формы, кроме пристрастия к полям, холмам родным, златым играм первых лет и пр. Но довольно скоро он формируется более определенным образом, заключая в себе все понятия исторические и гражданственные, какие только успевает приобрести ребенок. Патриотизм этот отличается, до известной поры, полною и безгра-

ничною преданностью *всему своему*, – будет ли это хорошее или дурное, все равно. Причина такого безразличия заключается в том, что дитя еще и не понимает хорошенько разницы между дурным и хорошим, потому что мало имеет или не имеет вовсе предметов для сравнения. Не имея понятия о других городах, как может ребенок изъявлять недовольство устройством своего города? Живя непосредственно жизнью, руководствуясь во всем единственно желанием расширить, сколько возможно, пределы собственного эгоизма, связавши его с эгоизмом других, – ребенок восхищается всем, что он может, в каком бы то ни было смысле, назвать *своим*. При дальнейшем развитии, когда взгляд его расширяется с приобретением новых понятий, начинается работа различения хороших и дурных сторон в предмете, прежде казавшемся вполне совершенным. Таким образом, переходя постепенно от одного к другому, человек отрешается от безусловного пристрастия и приобретает верный взгляд сначала на свое родное семейство, на свое село, свой уезд, потом на свою губернию, на другую, третью губер-

нию, на столицу и т. д. В результате выходит наконец отрешение от предрассудков местности и увлечение только тем, что уже составляет общие народные или государственные черты. Но человек, нормальным образом развивающийся, не может остановиться и на этой степени выражения патриотизма. Он знает, что его чувства к родине, при всей своей силе и живости, не имеют еще той разумной ясности, которая дается только изучением дела в связи со всеми однородными явлениями. Таким образом, от идеи своего народа и государства человек, не останавливающийся: в своем развитии, возвышается посредством изучения чужих народностей до идеи народа и государства вообще и, наконец, постигает отвлеченную идею человечества, так что в каждом человеке, представляющемся ему, видит прежде всего человека, а не немца, поляка, жида, русского и пр. На этой степени развития в человеке необходимо должно исчезнуть то, что было детского, мечтательного в его патриотизме, что возбуждало только ребяческие фантазии, несообразные с действительностью и здравым смыслом. Все ис-

ключительные предилекции [2], все утопические мечтания о высшем предназначении одной нации к тому-то, другой – к тому-то, все национальные перекоры о взаимных преимуществах – исчезают в мысли человека, правильно и вполне развившегося. Для него уже не существуют вопросы вроде: кичливый лях или верный росс?{10} и пр. Германское или славянское племя будет выше в истории последующих веков? и т. п. Подобные выходки он уже считает фразерством и забавляется ими вроде того, как забавляемся мы, например, перекорами Москвы с Петербургом, возобновляемыми время от времени в нашей юной литературе. Но из этого теоретического равнодушия и безразличия к землячеству во все не нужно заключать, чтобы высшее развитие человека делало его неспособным к патриотизму. Напротив, оно только и может сделать человека настоящим, действительным патриотом, – и вот каким образом.

Получив понятие об общем, то есть о постоянных законах, по которым идет история народов, расширив свое мирозерцание до

понимания общих нужд и потребностей человечества, образованный человек чувствует неприменное желание перенести свои теоретические взгляды и убеждения в сферу практической деятельности. Но вдруг деятельности человека, равно как и его силы и самые желания, не могут простираться на весь мир одинаково, и потому он должен избрать себе какой-нибудь частный, ограниченный круг и в нем прилагать свои общие убеждения. Этот круг всего скорее, всего естественнее будет — отечество. Мы больше сроднились с ним, больше его знаем и вследствие того более ему сочувствуем. И сочувствие это вовсе не является в ущерб любви и уважению к другим народностям; нет, оно есть простое следствие ближайшего знакомства с одним, чем с другим. Мы читаем преспокойно в газетах, что в такой-то сшибке убито столько-то; но то же известие производит на нас сильнейшее впечатление, если нам знакомы некоторые из убитых; и оно же может повергнуть нас в глубокую горестъ, ежели в числе убитых находится наш лучший друг. Мы горюем о нем, во все, однако же, не думая, что другие были ху-

же его и недостойны нашей горести. Если бы мы сошлись с ними, то, может быть, плакали бы о них еще больше; но судьба не свела нас с ними, а всех чужих покойников не оплачешь. То же самое и с патриотизмом: мы более сочувствуем своему отечеству, потому что более знаем его нужды, лучше можем судить о его положении, сильнее связаны с ним воспоминаниями общих интересов и стремлений и, наконец, – чувствуем себя более способными быть полезными для него, нежели для другой страны. Таким образом, в человеке порядочном патриотизм есть не что иное, как желание трудиться на пользу своей страны, и происходит не от чего другого, как от желания делать добро, – сколько возможно больше и сколько возможно лучше. И потому-то никто не может упрекать замечательных деятелей, если они переносят свою деятельность из одной страны в другую, находя, что они могут быть там полезнее, нежели на своей родине. Джон Лоу осуществил свои финансовые теории во Франции{11}, Лафайет участвовал в американской войне{12}, Байрон сражался за греков: кто же упрекнет их за это в недостат-

ке патриотизма? Очень естественно, что один искал себе среды, где бы было удобнее применить свои планы, другие поспешали туда, где было более опасности. Патриотизм живой, деятельный именно и отличается тем, что он исключает всякую международную вражду, и человек, одушевленный таким патриотизмом, готов трудиться для всего человечества, если только может быть ему полезен. Ограничение своей деятельности в пределах своей страны является у него вследствие сознания, что здесь именно его настоящее место, на котором он может быть наиболее полезен. Оттого-то настоящий патриот терпеть не может хвастливых и восторженных восклицаний о своем народе, оттого-то он смотрит презрительно на тех, которые стараются определить грани разъединения между племенами. Настоящий патриотизм как частное проявление любви к человечеству не уживается с неприязнью к отдельным народностям; а как проявление живое и деятельное он не терпит ни малейшего реторизма, всегда как-то напоминающего труп, над которым произносят надгробную речь. Понимая патриотизм таким об-

разом, мы поймем, отчего он развивается с особенною силою в тех странах, где каждой личности представляется большая возможность приносить сознательно пользу обществу и участвовать в его предприятиях. Мы часто жалуемся, что у нас слабо развит патриотизм; это оттого, что деятельность массы отдельных лиц у нас почти совершенно разъединена с общим течением дел и, следовательно, круг интересов каждого необходимо мельчает. Скажите вашему извозчику, что мы завоевали Амур: он сначала даже и не поймет вас. Растолкуйте ему, какое значение имеет это для страны: он согласится с вами, но все-таки ваш рассказ не произведет на него сильного впечатления. Что ему, в самом деле, за надобность до Амура? Какое отношение к нему может иметь приамурский край? Его гораздо более занимает соображение о том, прибавите ли вы ему, сделавши конец, пятак серебра или заплатите по таксе... Но таково развитие патриотизма, например, в Англии, где общественные приобретения и неудачи принимаются массою с таким участием, как будто дело идет о личных интере-

сах каждого. Там не бесплодно звучат слова об общем благе, о пользах страны, потому что и на самом деле каждый принимает участие в общественных интересах, понимая связь их с своими собственными. За общее там вступаются люди в том смысле, что не желают видеть присвоения кем-либо частицы чужого, то есть интересы *всего вообще* охраняются не иначе, как посредством охранения интересов *каждого из всех*. Естественно при этом, что каждый интересуется общими делами и что фраза о славе нации, о величии государства не увлекает там людей, если она несогласна с действительными их интересами. Зато и личные интересы не могут получить такого исключительного преобладания, чтобы прийти в полное разобщение с общими выгодами. Англичанин или американец, не крича о том, что его, например, служебная деятельность необходима для поддержания государства и для блага народа, – никогда, однако, не продаст своего служебного долга ради личной выгоды: это запрещается ему чувством его патриотизма. Совершенно противное тому, по рассказам путешественников, происходит,

например, в Австрии, где обилие патриотических фраз не мешает еще большему обилию всякого рода преступлений против блага отечества. Это уже, во всяком случае, – не патриотизм, что бы ни говорили и что бы ни писали австрийские газеты. Настоящий патриотизм выше всех личных отношений и интересов и находится в теснейшей связи с любовью к человечеству. Образец проявления его можно указать, например, в англичанах, которые, едва только утих взрыв первого негодования на индийскую резню, принялись доказывать, что они сами виноваты, что нужно изменить систему управления в Индии, и, наконец, решились покончить с Ост-Индскою компаниею{13}. Другой образец можно, пожалуй, видеть у североамериканцев, где высшие сановники живут почти в бедности, не смея и подумать истратить для себя хотя один грош из огромных общественных сумм, находящихся у них в руках, и где даже *белый домик* президента ничем не отличается от жилища гражданина среднего состояния. Вот это патриотизм!..

Совершенно другие результаты представ-

ляет псевдопатриотизм, иногда с удивительным бесстыдством прикрывающийся именем истинной любви к отечеству. Он совершенно противоположен настоящему патриотизму, Тот есть ограничение общей любви к человечеству; этот, напротив, есть расширение, до возможной степени, неразумной любви к себе и к своему и потому часто граничит с человеконенавидением. Тот является вследствие разумного определения своих отношений к миру и вследствие сознательного выбора частной деятельности; этот же является в недорослях, не добившихся до разумных определений, не умеющих понять своего места в мире и старающихся хоть как-нибудь и куда-нибудь пристроиться, чтобы носить, по возможности, почетное звание и тунеядствовать. Проявления подобного патриотизма замечаются уже и в детском возрасте, если дети получают ложное развитие. Так, патриотизм, соединенный с человеку ненавидением, обыкновенно выражается в них какою-то бестолковой воинственностью, желанием резать и бить неприятелей во славу своего отечества, между тем как воинственный мальчиш-

ка и не понимает еще, что такое отечество и кто его неприятели. Та же самая исключительность, соединенная с сознанием собственного бессилия, видна в патриотических и корпорационных спорах мальчишек, когда они поступят в школу. Если в школе есть мальчишки разных национальностей, то непременно они начнут хвалиться друг перед другом и выказывать неприязненные расположения, которые пропадают только по мере большего развития мальчиков. Тут же имеет место другое явление, весьма близко сюда подходящее: мальчики перекоряются друг с другом, хвастаясь, что один был в таком-то пансионе, другой учился у такого-то, третий брал уроки у таких-то учителей и т. п. Все эти споры имеют один источник: мальчику хочется чем-нибудь похвалиться насчет своего ученья; но сам он слишком слаб и ничтожен, чтобы иметь возможность опереться на собственные знания и рассуждения; вот он и пристраивает себя к авторитету учителя или школы и старается превозносить их пред всеми другими с тем, чтобы лучами их славы озарить себя самого. Замечательно, что чем

умнее и деятельнее мальчик, тем скорее пропадает у него охота хвастаться своими прежними учителями. Через несколько времени общего пребывания в одной школе такая охота только и остается уже у самых пустых и безнадежных лентяев. Подобное этому явление представляли старинные слуги, тип которых столько раз был уже изображаем в наших романах и повестях. Не находя в себе никакого собственного, личного значения, не видя возможности опереться в чем-нибудь на самих себя, потерявши благородный эгоизм самобытной личности, но будучи одержимы мелочным и грубым самолюбием, — они постоянно старались придавать себе важности непомерным превозношением своих господ. И замечательно, что их дифирамбы своим барам, составленные чисто с холопской точки зрения, обыкновенно имели характер, не слишком хорошо рекомендуемый превозносимых господ в глазах человека порядочного. Но старый слуга не подозревал этого: он рассказывал с необычайной наивностью похождения своего барина, с убеждением в их безукоризненном величии и с мыслью, что вот,

дескать, смотрите на нас, – каким господам мы принадлежали!..

Люди, входящие в подобную роль – неопытного, заносчивого школьника или престарелого, недалежного слуги, – обнаруживают, конечно, весьма низкую степень развития нравственного и умственного. Подобно этому – и псевдопатриоты, фразисто расписывающие свою любовь милому, славному, великому отечеству, доказывают только, что им, кроме фраз, нечем заняться. Их развитие не так высоко, чтобы понять значение своей родины в среде других народов; их чувства не так сильны, чтобы выразиться в практической деятельности; их личность не столько самобытна, чтобы в собственных силах искать прав на какое-нибудь значение. И вот эти нравственные недоросли, эти рабски ленивые и рабски подлые натуры делают паразитами какого-нибудь громкого имени, чтобы его величием наполнить собственную пустоту. Нередко это громкое имя бывает – отечество, родина, народность, и тут уж не бывает конца цветистым фразам и риторическим изображениям, лишенным всякого

внутреннего смысла. На деле, разумеется, не бывает у этих господ и следов патриотизма, так неумоимо возвещаемого ими на словах. Они готовы эксплуатировать, сколько возможно, своего соотечественника, не меньше, если еще не больше, чем иностранца; готовы так же легко обмануть его, погубить ради своих личных видов, готовы сделать всякую гадость, вредную обществу, вредную, пожалуй, целой стране, но выгодную для них лично... Если им достанется возможность показать свою власть хоть на маленьком клочке земли в своем отечестве, они на этом клочке будут распоряжаться, как в завоеванной земле... А о славе и величии отечества все-таки будут кричать... И оттого они – псевдопатриоты!..

Наведенные на эти замечания «Опытом об истории русской цивилизации», мы, однако же, высказали их вовсе не с тем, чтобы применять к г. Жеребцову что-нибудь из того, что нами сказано о патриотизме. Распространяясь об этом предмете, мы имели в виду только вот какую цель. В продолжение нашей статьи нам неоднократно придется указывать на мнения г. Жеребцова, внушенные ему, оче-

видно, его патриотическими чувствами. Чтобы не надоедать читателям повторением одних и тех же рассуждений по поводу их, мы и решились высказать предварительно и разом наше понятие о разных родах патриотизма или того, что нередко скрывается под этим именем. После этого мы уже считаем возможным избавить себя от подробных объяснений по поводу разных мнений г. Жеребцова. Мы станем только указывать их, и читатели, надемся, сами уже легко поймут, к какому разряду отнести патриотизм «Опыта об истории цивилизации в России».

Прежде чем мы раскроем некоторые подробности взгляда автора на русскую цивилизацию, мы считаем нужным обратить внимание на его понятия о цивилизации вообще. В этом случае г. Жеребцов имел себе прекрасный образец в Гизо, которого первая лекция о цивилизации во Франции^{14} посвящена общим взглядам, так же как и введение г. Жеребцова. Но г. Жеребцов отвращается всего, что может напомнить Запад; он хлопочет о народном воззрении и потому постарался сочинить свое собственное определение цивили-

лизации и элементов, ее составляющих. Вышло действительно что-то не похожее ни на Гизо и ни на какого мыслителя; но, в дальнейшем приложении этого *чего-то*, автор не выдержал, сбился и съехал опять-таки на того же Гизо. Не вытанцовывается как-то наша самобытность, да и только. Для читателей, позабывших определение Гизо, мы можем привести страницу из его первой лекции; а потом обратимся к г. Жеребцову.

Мне кажется, – говорит Гизо, – что, по общему понятию, цивилизация состоит существенно из двух явлений: развития социального и интеллектуального, то есть из улучшения внешнего положения общества и из совершенствования внутренней природы человека, его личности, словом, из развития стороны общественной и чисто человеческой.

Но мало сказать, что цивилизация состоит из этих двух явлений; надо прибавить, что для ее совершенства необходима совокупность их, ближайшее и одновременное соединение, взаимное действие одного на другое. Хотя и случается, что иногда они разрознивают-

ся и – то общественные усовершенствования, то внутреннее развитие отдельных лиц идет скорее и дальше, – но тем не менее оба явления е могут обойтись совсем друг без друга: они взаимно возбуждаются и производятся одно другим, рано или поздно. Если они долго идут порознь и соединение их наступает не скоро, то душою наблюдателя овладевает ощущение какой-то тягостной пустоты, какого-то уныния, как будто вам чего-то недостает. Когда видишь в народе огромные улучшения общественные, огромные успехи материального благосостояния, не сопровождаемые внутренним развитием человека и соразмерными успехами ума, – то все общественные улучшения кажутся ненадежными, непонятными, даже почти незаконными. Спрашиваешь себя: какими идеями произведено, чем оправдывается это улучшение, с какими принципами оно связано? Хочется уверить себя, что оно не ограничится несколькими поколениями, каким-нибудь клочком земли; что оно сообщится далее, распространится, сделается до-

стоянием народов. Но каким образом общественное улучшение может сообщиться другим и распространиться, если тут нет общей идеи, если доктрина невозможна? Ведь только идеи перепрыгивают пространства, переплывают моря и повсюду бывают непременно поняты и приняты. Такова уж натура человека, что он не может понять громадного развития материальной силы, без участия силы моральной, которая должна к ней присоединиться и управлять ею. Как будто что-то низкое выражается в самом благосостоянии материальном, если оно не приносит других плодов, кроме этого самого благосостояния, если оно не возвышает ум человека в уровень с его внешним положением. Зато, если блеснет иногда и необычайное развитие умственное, не ведя за собою никаких общественных улучшений, и это заставляет удивляться и беспокоиться. Как будто видишь прекрасное дерево, не приносящее плодов, или солнце, не греющее и не действующее плодотворно на почву. Чувствуется некоторого рода пренебрежение к

идеям, которые столь бесплодны, что не в состоянии овладеть миром материальным. Мало того – является, наконец, сомнение в их разумной законности, в их истине; является поползновение считать их химерами, так как они оказываются бессильными и не имеют власти над внешним положением человека. Так сильно в человеке сознание того, что он должен переносить идеи в действительность, переделывать мир и управлять им соответственно с теми истинами, которые он понял и сознал. Таким образом, два великие элемента цивилизации – развитие социальное и интеллектуальное – тесно связаны один с другим, и совершенство цивилизации зависит не просто от их соединения, но от их соответствия, от тех размеров легкости и скорости, с какими они вызываются и производятся один другим.

Когда смотришь на развитие народов естественно, о исторической точки зрения, то определение Гизо кажется почти совершенно удовлетворительным. Оно очень широко захватывает историю народов и очень опреде-

лительно выражает собою общее стремление нашего времени возводить факты к идеям, а идеи призывать на окончательный суд и поверку фактами. В одном можно упрекнуть Гизо: он слишком резко отделяет моральную силу от материальной, как будто сила находится где-то отдельно от материи, а не в ней самой. Впрочем, в сущности, мысль Гизо может иметь следующий смысл. Бывает, что общественные улучшения, которые должны быть результатом известной степени развития народа, появляются в нем тогда, когда он еще не достиг до этой степени развития. Таким образом – как будто нет нравственной основы для материального благосостояния, и она действительно может не быть в самом этом обществе, а быть принесена извне, и в таком случае само видимое благосостояние общества угрожает непрочностью. В таком смысле – положение Гизо представляется вполне верным.

Но г. Жеребцов не опроверг и не дополнил того, что может подать повод к возражениям у Гизо. Напротив, с тем, что моральная сила есть нечто совершенно особое, вовсе не нахо-

длежащее в материальных предметах, а навязываемое им извне, – с этим он вполне согласен. Определение цивилизации, сделанное у Гизо, не могло понравиться ему по другой причине. По мнению г. Жеребцова, идеи, управлявшие историей России, начала, по которым народ наш развивался, были всегда высоки, непреложны и благотворны, начиная от новгородских славян и от князя Владимира киевского. Но общественные улучшения вводились в стране очень медленно (этого не может не сознать автор) и вовсе не соответствовали этой высокой степени развития, на которой отдельные лица стояли у нас уже в самые древние времена. Так продолжалось много столетий, и, следовательно, если бы уж признать положение Гизо, то пришлось бы идеи, управлявшие развитием древней Руси, сравнить с негреющим солнцем и признать бесплодными, немощными относительно общественного благосостояния. А г. Жеребцов никак не хочет признать этого; он, напротив, начала древней Руси ставит даже в пример для нынешней. – Следовало, значит, сочинить собственное, народное определение цивили-

зации, в котором бы идеи и умственное развитие человека были сами по себе, а общественное благосостояние – само по себе. Г-н Жеребцов и сочинил такое определение, в котором превзошел самого себя и из которого он ясно мог вывести, что идеи, господствовавшие в древней Руси, вовсе и не *должны* были способствовать общественным улучшениям и материальному благосостоянию. Вот его определение:

«Совершенная цивилизация состоит, по нашему мнению, в высшем развитии умственных и нравственных способностей всех лиц, составляющих нацию, – в развитии, приспособленном к возможно большему благу всех и каждого».

Определение это, как видите, сделано с совершенно иной точки зрения, нежели определение Гизо. Здесь нет речи об общественном, материальном благосостоянии, а упоминается вообще о каком-то *благ*. В чем состоит это благо по мнению автора, – трудно понять, не прочитав его книги. Таким образом, определение страдает неопределенностью и принадлежит к числу общих мест, тем более

что и «развитие умственных и нравственных способностей» представляет у г. Жеребцова фразу, лишенную определенного содержания. Что он понимает под нравственными способностями? В чем полагает их развитие? Это остается вопросом, который всяким может быть решаем по-своему. Г-н Орест Миллер полагает, например, что высшее нравственное развитие состоит в принижении своей личности и, если возможно, даже в совершенном отречении от нее{15}, Может быть, и г. Жеребцов близок к подобному взгляду. Тогда – в чем же, по его мнению, будет состоять цивилизация?

Следя далее за г. Жеребцовым, мы находим, что он предъявляет следующие положения. Для полного развития человека и целого народа необходимы, – говорит он, – хорошее знание предметов, умение хорошо мыслить о них и любовь к общему благу. Таким образом, цивилизация состоит, по выражению г. Жеребцова, в том, чтобы каждый *хорошо знал, хорошо мыслил и хорошо хотел*. По нашему мнению, совершенство мышления зависит непременно от обилия и качества данных, на-

ходящихся в голове человека, и разделять эти две вещи довольно трудно, особенно когда понимать под знанием не поверхностное, внешнее сведение о факте, а внутреннее, серьезное проникновение им, – как и понимает сам г. Жеребцов. Но для него ничего не значит поставить мышление и знание в совершеннейшей отдельности друг от друга, – не только в отдельном человеке, но даже и в целом народе. По его мнению, есть народы, которые много знают, но рассуждают плохо, – и есть другие народы, которые знают мало, но зато рассуждают отлично. В образец последних г. Жеребцов, к немалому удивлению нашему, приводит – Англию! Он уверяет, что у англичан рассудочные способности очень развиты и действуют весьма правильно, – *несмотря на недостаток знаний!* «Это уж зависит от врожденного расположения народа к рассуждению» (raisonnement), – замечает он. Это объяснение показалось нам чрезвычайно похожим на слова свахи в «Женитьбе». Гоголя: «Что ж делать, это уж так ему бог дал, что ни скажет слово, то соврет. Он-то и сам не рад, да уж не может, чтобы не прилгнуть: такая уж на то

воля божия!» Так и англичане несчастные: уж и сами не рады, а не могут, чтобы не рассуждать; такая уж на то воля божия!..

Мнение автора о недостатке знаний в Англии относится, впрочем, к низшему классу народа. В аристократии он признает достаточные познания. Но, по собственным понятиям г. Жеребцова, народу вовсе и не нужно знать больше того, что он знает и что нужно для исполнения им разных его работ. Так должен полагать г. Жеребцов, судя по тому, что он говорит о высшей степени знания, которую называет *усвоением* (assimilation), и о том, когда знание это бывает истинно полезным. Усвоенным знанием называет он то, которое не остается просто в памяти, а переходит в убеждение, в жизнь и ведет к дальнейшим выводам и открытиям. О пользе знания говорит он вот что: «Чтобы распространение знаний было полезно и благотворно, нужно следующее существенное условие: знания должны быть распределены в народе так, чтобы каждый мог всю массу своих знаний прилагать на деле, в сфере своих практических занятий, – и наоборот, чтобы всякий хо-

рошо знал то, что может приложить с пользой для себя и для общества на практике». Мы, разумеется, не можем вполне согласиться с таким требованием, потому что из него может вытекать, например, вопрос: зачем мужику грамота, которой он не может ввести в круг своих практических занятий? или вопрос: зачем дворянину учиться географии, когда извозчики есть?.. и т. п. Вообще в разных определениях и мнениях г. Жеребцова видна крайняя незрелость мысли и шаткость его убеждений, происходящая, может быть, от непривычки к рассуждениям о предметах отвлеченных, а может быть – и от той же причины, по которой у г. Жеребцова англичане рассуждают так отлично... В настоящем случае мы находим, что он уж слишком увлекся мыслью о практической приложимости знаний, – опасаясь, вероятно, того, чтобы при большем развитии просвещения каждый не стал рассуждать больше, чем сколько ему дозволяет его звание и состояние. А между тем тот же г. Жеребцов в других местах выражает пренебрежение к практическим улучшениям и хлопочет почти исключительно о высоком

развитии умственных и нравственных сил. С этой-то точки зрения он и хотел упрекнуть Англию, заимствовавши свой упрек у Гизо, который говорит, что сторона чисто интеллектуальная, развитие человека, – гораздо слабее в Англии, чем социальная сторона, развитие гражданина. Г-н Жеребцов не сообщил, что, избрав другую точку зрения, надобно уж и проводить ее иначе, и принимался повторять об Англии мысли Гизо. Но у Гизо ясно отделено интеллектуальное и социальное развитие; а г. Жеребцов скомкал это в одно – распространение знаний, да еще сказал, что приложимость (то есть развитие социальное) принадлежит высшей степени знания (то есть интеллектуального); а потом принялся упрекать Англию в недостатке знаний. В путанице, образовавшейся от смешения чужих идей с народным воззрением{16}, г. Жеребцов и не заметил, что если в чем нельзя упрекать Англию, так это именно в недостатке знаний, приложимых в практической деятельности.

Но этим г. Жеребцов не довольствуется. Он взводит на Англию еще обвинение в недо-

статке любви к общему благу, и здесь опять перефразируя мысли Гизо об интеллектуальном развитии и скрашивая их милыми возгласами о самоотвержении, любви ко врагам и т. п. В объяснение того, отчего в Англии так сильна нелюбовь к общему благу, г. Жеребцов приводит две причины. Первая состоит в недостатке благочестия истинно христианского и евангельского, которое мы не беремся ни оправдывать, ни объяснять. Вторая причина заключается «в превосходстве положения, занимаемого страной, и в ее политической силе, препятствующей в ней развитию чувств смирения и братства». Силою каких умозаключений дошел г. Жеребцов до подобных мыслей, мы опять объяснить не можем. По всей вероятности, русское народное воззрение много участвовало в его изумительной логике.

Продолжая свое обозрение, г. Жеребцов переходит к Франции. К этой стране он очень не благоволит. Знания здесь распространены больше, чем в Англии; но зато степень усвоения их меньше. (А уж и в Англии-то г. Жеребцов находит мало его в народе.) Притом зна-

ния распределены не так, как бы хотелось г. Жеребцову. Люди приобретают там много знаний, которых не к чему приложить; вследствие этого многие пускаются в дурные разговоры или в зlostные (mechant) писания. Оттого часто и революции происходят во Франции. Этому помогает еще и неосновательность французского рассудка, происходящая оттого, что он знает много лишнего и пускается рассуждать о предметах чуждых ему, как будто о самых близких. Но особенно губительно для Франции отсутствие в ней любви к общему благу. При мысли об этом г. Жеребцов приходит даже в не свойственное ему раздражение и сначала поражает последние годы прошлого столетия, называя их *злополучными* (nefastes), затем говорит, что «напрасно Бурбоны, по возвращении своем, хотели действовать с французами как с народом, не совсем еще потерявшим чувства веры и благочестия, и что напрасно хотели вывести французов на дорогу нравственности, бывшей для них противною»... Г-н Жеребцов так вооружен против Франции, что даже и в теперешнем ее состоянии не хочет над нею сжалиться и признать

ее цивилизованною, говоря, что в ней слишком развит *личный интерес*. В этом случае г. Жеребцов строже, чем сам Наполеон III, еще недавно признавший торжественно, что французский народ есть «*peuple eminentment catholique, monarchique et soldat*» [3], следовательно весьма цивилизованный. Ни одного из этих качеств г. Жеребцов не признает во французах и вследствие того ставит их весьма низко в отношении к цивилизации. За одно только хвалит их наш мыслитель – за патриотизм. «Одно нравственное чувство, – говорит он, – сохранившееся в этой нации, к чести французов, – есть общее стремление к славе своей страны...» Не мешало бы прибавить, что это чувство особенно сильно развито в гасконцах{17}.

К Германии всего более лежит сердце автора. Там находит он и повсюдное распространение знаний, и верность, основательность рассудка, и любовь к общему благу, развитую в большей степени, чем где-либо. О недостатке приложимости теоретических знаний немцев упоминает он слегка, в особенности напирая на их любовь к общему благу. В Германии

протестантской, – говорит он, – общая нравственность основывается на убеждениях философских, получающих свою силу от принципов евангельских; в Германии же католической, наоборот, нравственность основана прямо на религии, подкрепляемой и убеждениями философскими. Таким образом, результат выходит в обоих случаях один и тот же, – и вот вам легкое примирение протестантства и католицизма!.. Впрочем, мы все-таки должны здесь заметить, что г. Жеребцов уже слишком решительно поступил, позволив себе сделать такого рода повальный отзыв о целой Германии. Читая этот отзыв, так и представляешь французского туриста, который пишет о России: «Русский народ очень любит французский язык и старается беспрестанно говорить на нем. Вся Россия достигла высокой степени умственного развития, потому что все там умели с первого раза оценить мои достоинства и принимали каждое мое слово с живейшим энтузиазмом» и пр.

Вот какова степень цивилизации главнейших народов Европы; теперь сравним с ними Россию, – говорит г. Жеребцов и вслед за тем

приступает к изложению истории русской цивилизации. Изложение это составлено способом довольно легким. Всю историю России г. Жеребцов разделил, разумеется, на два отдела – древний и новый. В первом томе излагается древняя история до Петра; во втором новая, от Петра до наших времен.

Древняя история разделена на четыре периода: дохристианский, от христианства до монголов, монгольский и период царей. Обозрения собственно исторические весьма коротки и скомпилированы большею частью из Карамзина. Из Карамзина же извлечены почти все сведения, излагаемые в главах о внутреннем состоянии России в разные периоды, – по следующим рубрикам: законодательство, администрация, просвещение, нравственность, литература, искусства, промышленность и торговля. Таким же способом составлено обозрение новой истории России; но здесь уже не было для г. Жеребцова руководящей нити, вроде «Истории» Карамзина, и потому фактических ошибок здесь сравнительно больше. Зато объяснение фактов и общий взгляд на развитие России – совершенно оди-

наково ошибочны, узки и странны, – как в первой, так и во второй части «Опыта» г. Жеребцова. Мы предоставляем себе в следующей статье проследить взгляды автора на различные эпохи русской истории и указать его частные ошибки и увлечения. В сущности, конечно, этого бы и не стоило делать; но г. Жеребцов объявляет себя в своей книге представителем целой партии, известной у нас под именем славянофилов, а в его «Опыте» называемой «le vieux parti russe» [4]. Относительно знаний и силы убеждения это, правда, представитель довольно плохой; но зато он очень полно выразил мнения своей партии, систематически провел их по всей русской истории и весьма откровенно высказал те начала, которым, по его мнению, должен следовать русский народ в своем развитии. Указанием его общих взглядов мы и заключим пока эту статью, с тем, чтобы в следующей проследить их развитие в частности. Полагаем, что для наших читателей вовсе нет надобности идти в этом случае от анализа фактов к синтезу идей, как полагает это необходимым г. Жеребцов для своих европейских читателей. Исто-

рия наша известна нам более или менее, следовательно, высшие взгляды г. Жеребцова могут быть понятны. А между тем общий взгляд автора на русскую цивилизацию недурно поставить здесь рядом с его воззрением на цивилизацию других народов Европы. Следуя своему учению о трех элементах цивилизации, г. Жеребцов, в заключении своего «Опыта», дает нам определение того, в каком положении эти три элемента находятся в русском народе. *Любовь к общему благу*, признаваемая у него главным из элементов, приводит его в восхищение высокой степенью своего развития. Великие добродетели находит г. Жеребцов в русском народе: верность православию, набожность, покорность и сострадательность. Добродетели эти помрачаются только ничтожнейшими, по его мнению, пороками: лукавством, недостатком твердости, леностью и склонностью к чужому. Но и эти ничтожные пороки извиняются тем, что они явились вследствие монгольского владычества. Одно только беспокоит несколько г. Жеребцова: то, что чем выше подниматься от народа, тем нравственность более слабеет. Об-

стоятельство действительно ужасное; мы вполне это понимаем и придаем этому такое значение, что решаемся привести здесь в переводе слова самого г. Жеребцова, опасаясь изменить что-нибудь в начертанной им картине (том II, стр. 584 <и> след.):

Нравственность разных сословий в России находится в обратном отношении к общественной иерархии. Высший класс общества, не сохранивши с народом никакой связи в идеях, обычаях, верованиях и нравственности, стоит совершенно отдельно, как будто особое племя. Он создал для себя собственную историю и свой особенный ход нравственного развития, совершившегося в нем после реформы. Люди этого класса начали с отречения от всех глубоких верований православного христианства, которыми отличались их предки. Они пытались заменить их философскими убеждениями, взятыми из французских писателей XVIII века. Но в этом умственном фейерверке они не нашли твердого основания нравственности и погнались за нравственными наслаждениями низшего

сорта, удовлетворяя себя властолюбием, чванством, лестью окружающих, роскошью жизни и таким образом стараясь наполнить искусственно ту пустоту, которую произвело в душе их отсутствие религиозных чувств – спокойствия и надежды.

В этих-то нравственных переворотах прошел весь XVIII век и начало XIX. Идя от высших, эти губительные стремления проникали мало-помалу во все слои дворянства (*toutes les couches de la noblesse*). Чинопобие овладело всеми, потому что с чином все можно было удовлетворить: честолюбие удовлетворялось получением многих чинов; чванство также находило удовлетворение, потому что низший чином обыкновенно прислуживался к тому, кто имел чин побольше; наконец, по чинам занимали места более или менее выгодные, дававшие возможность роскоши, этого единственного выражения превосходства в обществе глубоко материалистическом. Не прошедши через школу рыцарства, высший класс общества в России имел только искусственное и поверхност-

ное понятие о чести. Это чувство никогда не проникало в глубину убеждений всего этого класса и очень слабо заменяло идею долга, основанную на вере религиозно-нравственной. Начала философии полковника Вейсса{18} не были столь сильною уздой для страстей, какой была для них боязнь греха. Мысль – оставить честный след своего существования, провозглашенная моралистами XVIII века, не была столько привлекательна, как надежда вечной награды за добродетель – надежда, составляющая основание христианской веры.

Страсти разнообразились по мере утонченности в материальных наслаждениях; узда, их сдерживавшая, ослаблялась с изменением горячей и энергической веры в мир будущий – на слабую и ничтожную мысль о честном существовании временном. При этом нравственность того класса общества, который подвергся действию этого изменения, необходимо должна была пасть. Распутство и продажность в общественных должностях были последствиями этого нравствен-

ного переворота.

Все начали чувствовать тяжесть этих недостатков, и появилась сатира. Сначала она поражала членов низшего дворянства, потом брала себе предметы из среднего слоя этого сословия; и ныне мы видим, что она дерзает (*risque*) время от времени задевать даже высшее дворянство (*sommites nobiliaires*) своим благодетельным острием. Результаты были благотворны: все заметили существование нравственного безобразия в обществе.

Н. В. Вынужденные нашим предметом рассмотреть нравственное состояние дворянства, мы должны были быть строгими в нашей оценке, потому что, имея честь сами принадлежать к этому дворянству, мы не хотели заслужить упрека в пристрастии к нашему собственному сословию. Тем не менее справедливость заставляет нас сказать, что русское дворянство может представить великое множество личностей, достойных всякого уважения и всякого почтения, и что только по причине слишком огромного коли-

чества фамилий, составляющих это сословие, и по различию степеней образования между ними общее заключение постоянно выходит в их невыгоду.

По этой странице, и в особенности по примечанию, читатели наши могут судить, до какой степени откровенен и беспристрастен г. Жеребцов. Мы ничего не в состоянии прибавить к этой выписке, да полагаем, что это и не нужно: тут весь г. Жеребцов – с своими началами, тенденциями, логикой, сведениями, способом выражения и пр. Можно только заметить еще, что не всегда г. Жеребцов выражается так смело и резко, как в приведенной выписке: здесь он особенно хотел показать себе, потому что «не хотел заслужить упрека в пристрастии».

Оставляя, впрочем, в стороне самого автора, будем следить далее за его идеями. Любовь к общему благу он признает весьма сильною в народе и только высший класс общества считает удалившимся от этой любви, по причине заражения его философскими началами полковника Вейсса. Что касается до исчисленных г. Жеребцовым пороков народа,

то он считает их неважными, а некоторые признает даже большими достоинствами. Например, с особенным сочувствием говорит он о том, что в народе нашем не считается бесчестным телесное наказание и что ругательство или тюремное заключение считается гораздо хуже. «Основание такого понятия, – говорит г. Жеребцов, – религиозное: верующий простолюдин никак не может допустить, чтобы могло быть бесславленным пятном телесное наказание, которому подвергался сам спаситель рода человеческого; он верует, что словесная обида поражает бессмертную часть человека, тогда как удар производит страдание только в низшей части нашего существа». После этого убедительного объяснения г. Жеребцов обращается даже с упреком к тем, которые осмелились говорить о равнодушии русских к телесному наказанию без надлежащего уважения к этому прекрасному качеству. Затем г. Жеребцов справедливо заключает, что Россия *хочет хорошо, veut bien*. И прекрасно!..

Зато относительно распространения знаний в России г. Жеребцов сознается, что эта

часть у нас еще слаба. Разумеется, виновниками этого признаются Батый и Петр Великий: так уж выходит по народному воззрению!.. Но мы не будем на этом останавливаться, оставляя всю историческую часть до следующей статьи. Здесь представим только догматические положения г. Жеребцова, относящиеся к настоящему и отчасти к будущему России. Относительно знаний, по мнению автора «Опыта», Россия в настоящее время достигла уже той зрелости труда, при которой дальнейшие успехи нужно уже будет считать не годами, а месяцами. Г-н Жеребцов не сомневается, что в самое короткое время Россия выработает даже *избыток* знания, который может потом уделить на воздвигание общечеловеческой науки (стр. 614). В особенности поддерживает такую надежду характеристика славянского ума, сочиненная г. Жеребцовым. «Славянин вообще, – говорит он (стр. 547), – обладает особенной способностью приобретать познания обширные и разнообразные. Глубокое знание какой-нибудь одной части не поглощает его совершенно; он всегда находит в себе довольно способности для изучения и других частей,

более или менее различных между собою, а иногда даже и совершенно разнородных. *Славянин по натуре своей – энциклопедист; это – олицетворенный эклектизм*». И вслед за этим, через две страницы, г. Жеребцов восклицает: «Вот что, по нашему мнению, должно понимать под именем *народности в науке*, провозглашенной старою русскою партией и навлекшей на нее столько насмешек со стороны приверженцев космополитизма» (стр. 550). Мы ничего не скажем относительно достоинства логики, какую обнаруживает в этом случае г. Жеребцов, а заметим только, что он обнаруживает в этом случае некоторый *manque de savoir* [5]. Совершенно вопреки его предположениям, мнение о том, что народность русская состоит в эклектизме, в подражательности, – было провозглашено именно одним из приверженцев космополитизма. Как слишком уж оригинальное, оно не нашло защитников в своей партии, а от старой русской партии, заслужило насмешки, да ведь какие!.. {19} Если бы г. Жеребцов знал их, он ни за что бы не высказал своего мнения о том, что под именем народности в науке нуж-

но разуместь славянский эклектизм.

Впрочем, славянофилы пощадили бы, по всей вероятности, г. Жеребцова за то, что он написал о будущей народной науке, между прочим, следующее: «Славянин упростит приложение знания к пользам человечества и обобщит это приложение. В науках исторических, политических и философских роль славяноруса состоит в *облагонравлении* (moralisation) этих наук. Он сумеет придать им этот характер нравственной пользы, этот религиозный дух, который возвысит и очистит человека, вместо того чтобы развратить его и погрузить в мир материальный, без будущности и без совершенствования».

Соглашаясь, что в России еще мало распространены знания, г. Жеребцов не придает, впрочем, большого значения этому обстоятельству: он находит, что русские и без науки умны. Способности их так велики, что, и не зная ничего, они могут рассуждать отлично. В подтверждение такого сверхъестественного феномена стоит только, по мнению г. Жеребцова, привести Юстиниана и Кокорева (стр. 552). Юстиниан, как известно, был славя-

нин и назывался прежде Управдою. Известно и то, что он был великий император и что не получил никакого школьного образования. Прокопий свидетельствует даже, что он едва умел подписывать свое имя. «А между тем, – восклицает г. Жеребцов, – идеи его управляют миром вот уже 1300 лет!»{20} И затем он продолжает: «Эта способность славян не выродилась и в наше время. Знаменитый Кокорев (le fameux Kokoreff), с такой выгодной стороны показавший себя Европе своими письмами о русской торговле{21}, которые отличаются оригинальными взглядами и некоторыми глубокими соображениями, есть дитя народа, и его школьное образование ограничивается курсом элементарной школы». Таким образом Юстиниан и Кокорев могут совершенно утешить всякого, кто вздумал бы огорчиться недостаточным распространением знаний в России. На основании этих великих примеров и некоторых соображений, столько же поразительных и оригинальных, г. Жеребцов произносит следующий приговор о мыслительных способностях русского народа: «Итак, русский народ щедро одарен умственными спо-

способностями, чтобы быть в состоянии *хорошо мыслить*. Исторически он воспитан так, что мог развиваться и усовершенствоваться в этом втором элементе цивилизации и *соперничать* с другими народами, которые считают себя совершенно цивилизованными. Мы не говорим: *превзойти*, потому что русские скорее скромны, чем самонадеянны».

Таковы общие идеи автора, таковы его взгляды и желания. Мы не знаем, нужно ли доказывать их несостоятельность пред судом здравого смысла и их полное несоответствие с действительностью. Шаткость понятий автора и непрерывные противоречия его суждений, заметные даже для самого невнимательного читателя, могли бы нас избавить от этого. Но мы вспоминаем опять, что г. Жеребцов представляет, – плохо, правда, но все-таки представляет, – мнения целой партии. Поэтому сделаем несколько замечаний относительно взгляда на русскую цивилизацию, который так неудачно и неловко высказан г. Жеребцовым, но который в существенных чертах своих принимается тою партией, к которой автор «Опыта» сам себя причисляет. Мы

не примем на себя труда ронять автора, который так нетверд на ногах, что и сам по себе беспрестанно спотыкается и падает на пути своих умозрений. Мы оставим в покое – и полковника Вейсса, как развратителя нашего дворянства, и народный характер, состоящий в эклектизме, и сравнение Юстиниана с Кокоревым, и сочувствие к телесному наказанию, столь наивно выраженное; мы не коснемся собственной логики г. Жеребцова, пройдем молчанием те качества, какие выразил он в характеристике недостатков высшего сословия в России и в примечании к этой характеристике. Оставим все это: наверное, немного найдется читателей, которые бы сами не поняли, откуда проистекают и к чему ведут соображения г. Жеребцова, и, наверное, никто не сочтет их справедливыми. Поэтому мы обратим внимание на общие черты взгляда г. Жеребцова, не касаясь личных его ошибок.

Во взгляде этом прежде всего поражает нас искусственная точка зрения. Берутся свои отвлеченные принципы, и под них подводится живое народное развитие. Совершенно произвольно ставятся общие начала, делается ис-

кусственная классификация, насильственно разделяется то, чего нельзя разделять, соединяется то, что не имеет между собою ни малейшей связи. Вовсе не думают взглянуть прямо и просто на современное положение народа и на его историческое развитие, с тем чтобы представить картину того, что им сделано для усвоения общечеловеческих идей и знаний, для применения их к своему быту или что им самим создано полезного для человечества. Нет, прежде всего ставят над народом собственные условные идейки и затем смотрят только на то, в какой степени удовлетворяет он этим идейкам. И какой мертвечинной схоластики веет от самых идеек этих! Как будто можно не шутя отделять в народном развитии знание от мышления и мышление от стремления к общему благу! Как будто есть возможность серьезно искать общего блага, когда не умеешь порядочно рассуждать, и будто можно хорошо рассуждать, не имея нужных сведений, не зная того, о чем хочешь рассуждать!.. Ведь это можно в насмешку повторять слова щедринской талантливой натуры, что «русский человек без науки все науки

прошел»{22}, в насмешку можно сказать, что г. Кокорев, не имея никаких познаний, внезапно написал гениальное сочинение о предмете, который от других обыкновенно требует продолжительных занятий и серьезного изучения. Не в шутку этого говорить нельзя и об отдельном человеке, не только что о целой нации. В развитии народов и всего человечества – сами принципы, признаваемые главнейшими двигателями истории, зависят, несомненно, от того, в каком положении находятся, в ту или другую эпоху, человеческие познания о мире. Суждение о предмете, мнение – необходимо связывается с каждым знанием. Невозможно представить себе предмета, который бы я знал и о котором бы у меня не было никакого суждения в голове. Суждение мое может быть неверно или нетвердо, робко; но и это опять будет зависеть от недостаточного знания всех сторон предмета. Если же я знаю предмет так основательно и ясно, что в нем уже не остается для меня ничего незнакомого или непонятного, то заключение мое о нем непременно будет отличаться тою же решительностью и ясностью. Да ведь

самый процесс усвоения знаний включает в себе и рассудочную деятельность, то есть составление суждений и умозаключений. Известно, даже из начальных оснований логики, что только посредством силлогизма можно составить понятие о предмете; а силлогизм опять основывается на посылках, которых верность зависит от большей или меньшей правильности данных; для правильности же данных нужно знать предмет, к которому они относятся, и т. д. И это, столь неразрывное в своем единстве, органически целое явление хотят нам представить как две вещи, совершенно отдельные, из которых одна легко может обойтись без другой! Хотят уверить нас, что может быть народ, набивающий себя познаниями, без умения мыслить, и может быть другой народ, предающийся мысли, без знаний. Да ведь что же составляет материал мысли, как не познание внешних предметов? Возможна ли же мысль без предмета; не будет ли она тогда чем-то непостижимым, лишенным всякой формы и содержания? Ведь защищать возможность такой беспредметной и бесформенной мысли решительно значит

утверждать, что можно сделать что-нибудь из ничего!..

Но разделяющие знание от мышления говорят, что не все люди одарены одинаковой способностью комбинировать те данные, которые им представляются, и что отсюда-то и происходит разнообразие выводов, какие делаются различными людьми об одних и тех же предметах. С этой точки зрения, говорят они, и можно рассматривать разные личности и разные народности совершенно отдельно по каждому из двух пунктов: знания могут быть у человека в известном объеме и порядке, но умение распоряжаться ими может быть развито совершенно несоответственным образом. Справедливость факта этого можно признать; но если и можно придавать ему какое-нибудь значение, то, во всяком случае, скорее относительно отдельных лиц, нежели целого народа. В значительной массе людей не так легко может произойти наплыв невыработанных и противоречащих знаний, ставящих в тупик силу мыслящую, как в одном человеке; в целом же народе решительно невозможно это, потому что непонятное или

неясно понятое одним непременно будет здесь уясняться и поверяться другими. Если может быть существенное различие между народами в умственном отношении, так это в обилии и характере самых знаний, успевших войти в сознание народа. Знания эти, завися от разнообразия местных предметов, могут, конечно, значительно различаться у разных народов, производя разницу в характере народа, относительно его пылкости или холодности, стремительности или медленности и т. п. Разнообразие же в мыслительной способности может состоять и здесь только в том, что о предметах чужих, менее известных, суждения составляются медленнее и с меньшей основательностью, чем о явлениях близких и всем хорошо знакомых.

Все это так просто и ясно, что мы не считаем нужным даже подтверждать это примерами и более пространными рассуждениями. Но даже если различие в умственных способностях разных народов и признать фактом справедливым, и тогда все-таки этого различия нельзя принять за исходную точку для взгляда на развитие цивилизации. Народные

различия вообще зависят всего более от исторических обстоятельств развития народа. В особенности же это можно сказать о чисто интеллектуальном развитии. Всякое различие в этом отношении должно быть признаваемо следствием цивилизации, а не коренною ее причиною. Не потому, в самом деле, англичане отличаются практическими приложениями знаний, что таковы уж искони врожденные их свойства, «так уж им это бог дал»; а напротив – эти самые свойства явились у англичан в продолжение веков вследствие разных обстоятельств их исторического развития. Так точно – не потому русские до сих пор подражали Западу, что уж такая у славян природа эклектическая; а просто потому, что к подражанию вел их весь ход русской цивилизации. Таким образом, если уж и можно обращать внимание на народные различия с этой стороны, то не иначе, как в строгой, последовательной, неразрывной связи рассматривая внешнее распространение знаний и внутреннюю их обработку в сознании народа. Разделять эти две вещи можно было бы еще тогда, когда бы автор объявил, что под

знанием вообще он разумеет все, что только когда-либо коснулось слуха народа, хотя бы и не оставив в сознании его ни малейшего следа. Но можно ли называть это знанием, можно ли подобное знание принимать как один из элементов цивилизации? Нет, очевидно, тут разумеется знание живое, ясное, глубоко проникшее в сознание, сделавшееся убеждением и правилом жизни. И вдруг – такое знание хотят рассматривать отдельно от умственных способностей!..

Еще более странно представляется нам ошибка, какую делают добрые люди, толкуя о третьем элементе их цивилизации, – о любви к общему благу, независимо от знаний и умственного развития народа. Нам представляется прежде всего страшная неопределенность в этом выражении: любовь к общему благу. Каждый может толковать его по-своему. Затем мы не понимаем, какая же нелюбовь к общему благу может быть в целом народе? Без всякого сомнения, каждый народ вообще хочет себе добра и старается его достигнуть, когда действует свободно, всей массой, не стесняемый посторонними препят-

ствиями. Если же его действия стесняются кем-нибудь и направляются не к добру, то ответственность за это, как за действие несвободное, снимается с народа и переносится на те лица, которые его стесняют. Когда же может быть случай, чтобы народ весь выразил нелюбовь к общему благу? В тех случаях, когда он попадает на ложный и вредный путь развития? Но тут надобно видеть ошибку, недостаток верных знаний, а все-таки не отвращение от общего блага. Очевидно, что люди, отыскивающие в народах развитие любви к общему благу, берут уже здесь не массу народа, а отдельные личности. Много им встретилось в народе лиц, подающих милостыню: значит, любовь к общему благу развита. Много нашлось людей, ищущих только собственной выгоды: стало быть, любовь к общему благу развита слабо. Что может быть наивнее такого заключения? Ничего никому не доказывая, оно может служить только к большому обнаружению несостоятельности мнения о любви к общему благу как о чем-то реальном, особо и самостоятельно существующем в народе. Заключение о различии в народах

этой любви основывается, очевидно, на том, что в одном народе менее людей, ищущих собственного, личного блага, а в другом – более. Но ведь это совершенно несправедливо. Все люди, во все времена, во всех народах, искали и ищут собственного блага; оно есть неизбежный и единственный стимул каждого свободного действия человеческого. Разница только в том, кто как понимает это благо, в чем видит удовлетворение своего эгоизма. Есть эгоисты грубые, которых взгляд чрезвычайно узок и которые понимают свое благо в лени, в чувственности, в унижении перед собою других и т. п. Но есть эгоисты и другого рода. Их действия можно производить из бескорыстной любви к общему благу, но, в сущности, и у них первое побуждение – эгоизм. Отец, радующийся успеху своих детей, гражданин, принимающий близко к сердцу благо своих соотечественников, – тоже эгоисты: ведь все-таки *они, они сами*, чувствуют удовольствие при этом, ведь они не отрекаются от себя, радуясь радости других. Даже когда человек жертвует чем-нибудь своим для других, – эгоизм и тут не оставляет его. Он отдает

бедняку деньги, приготовленные на прихоть: это значит, что он развился до того, что помощь бедняку доставляет ему больше удовольствия, нежели исполнение прихотей. Но если он делает это не по влечению сердца, а по предписанию долга, повелевающего любовь к общему благу? В этом случае эгоизм скрывается глубже, потому что здесь уже действие не свободное, а принужденное; но и тут есть эгоизм. Почему-нибудь человек предпочитает же предписание долга своему внутреннему влечению. Если в нем нет любви, то есть страх: он опасается, что нарушение долга повлечет за собою наказание или какие-нибудь другие неприятные последствия; за исполнение же он надеется награды, доброй славы и т. п. Таким образом, любовь к общему благу (в которой иные могут видеть и самоотвержение и обезличение человека) есть, по нашему мнению, не что иное, как благороднейшее проявление личного эгоизма. Когда человек до того развился, что не может понять своего личного блага вне блага общего; когда он при этом ясно понимает свое место в обществе, свою связь с ним и отношения ко

всему окружающему, тогда только можно признать в нем действительную, серьезную, а не риторическую любовь к общему благу. Ясно, следовательно, что для значительного развития в обществе этого качества нужно высокое умственное развитие всех его членов, нужно много живых и здравых понятий, не головных только, но проникших в самое сердце, перешедших в практическую деятельность, переработанных в плоть и кровь человека. Не случайные порывы, не призрачные стремления, развившиеся по чужим фантазиям, а именно масса таких выработанных знаний, проникших в народ, управляет ходом истории человечества. До сих пор подобных знаний еще весьма мало выработано людьми, да и те, которые выработаны, редко проникали во всю массу народа. Оттого до сих пор история народов представляет в своем ходе некоторого рода путаницу: одни постоянно спят, потому что хоть и имеют некоторые знания, но не выработали их до степени сердечных, практических убеждений; другие не возвысили еще своего эгоизма над инстинктами хищной природы и хотят удовле-

творить себя притеснением других; третьи, не понимая настоящего, переносят свой эгоизм на будущее; четвертые, не понимая самих себя, тешат свой эгоизм помещением себя под чужой покров и т. д. Непонимание того, в чем находится настоящее благо, и старание отыскать его там, где его нет и не может быть, – вот до сих пор главный двигатель всемирной истории.

Как же это у нас-то так сильно развилась любовь к общему благу? – спросим мы г. Жеребцова с братиею. Откуда ей было взяться у нас, если знания у нас распространены так мало, по собственному сознанию автора «Опыта», – сознанию, вполне согласному с действительностью? Или г. Жеребцов и все, признающие справедливость его мнения, понимают под любовью к общему благу; что-нибудь другое, а не то, что следует; или в их суждении находится явное и грубое противоречие. Чтобы *понять общее благо*, нужно много основательных и твердых знаний об отношении человека к обществу и ко всему внешнему миру; чтобы *полюбить* общее благо, нужно воспитать в себе эти здравые понятия, до-

вести их до степени сердечных, глубочайших убеждений, слить их с собственным существом своим. Но и этого еще мало отдельному человеку для того, чтобы по идее любви к общему благу *расположить всю свою деятельность*. Тут уже силы одного человека ничтожны: нужно, чтобы большинство общества прониклось теми же убеждениями, достигло такой же степени развития. Тогда только можно сказать об обществе, что в нем действительно распространена истинная любовь к общему благу. Но сказать это об обществе, в котором сам же признаешь недостаток распространения даже элементарных сведений, значит сказать горькую насмешку...

Нам могут заметить, что предъявляемые нами требования никогда и нигде еще не были выполняемы. Мы это знаем и не хотим указывать русскому обществу какие-нибудь идеалы в современных европейских государствах. Но мы не думаем, чтоб этим уничтожилась истина наших слов. Мы ставим мерку: пусть никто не дорос до нее, все-таки по ней можно судить об относительном росте каждого. А по фантастической черте, проведенной г.

Жеребцовым в воздухе, ни о чем нельзя судить.

Мы предвидим, впрочем, что приверженцы взгляда, излагаемого г. Жеребцовым, скажут нам, что любовь к добру есть чувство, врожденное человеку, и от знания не зависит. Мы готовы согласиться с этим, потому что сами определяем природный эгоизм человека стремлением к возможно большему добру. Но тут, как назло, непременно является неотвязный вопрос: в чем же добро-то? Для разрешения этого вопроса опять-таки неизбежно знание. А как быть, ежели его нет?

На вопрос этот мы находим положительный ответ, относительно древней Руси, и в книге г. Жеребцова и во всех творениях славянофилов. Они уверяют, что вопросы о том, что добро и что худо, были еще издавна в древней Руси разрешены Византиею. От Византии пришла к нам образованность, оттуда получили мы и готовое решение вопросов о добре и зле. В течение веков византийские убеждения проникли в массу народа, срослись с существом его и в практической деятельности выразились избытком любви к об-

щему благу. Это мнение есть один из основных пунктов славянофильского учения. Но мы позволяем себе совершенно иначе думать о влиянии на русский народ греческой образованности. Не говорим о том, было ли оно благодетельно там, куда успело проникнуть; но мы знаем, что оно весьма мало проникло в народ, не вошло в его убеждения, не одушевило его в практической деятельности, а только наложило на него некоторые свои формы. В следующей статье мы будем иметь случай показать, как мало благодетельного значения имело византийское влияние в историческом развитии Руси; теперь же заметим только, что, видно, слабо оно действовало в сердцах русских, когда не могло противостоять воле одного человека, да и то напавшего на него не прямо, а очень и очень косвенно, при реформе государственной. Лично для г. Жеребцова мы, пожалуй, прибавим еще следующее замечание: очень, видно, слабо было византийское влияние в русских сердцах, когда оно уступило даже влиянию «заразительной» философии полковника Вейсса!..

Что касается вопроса, в какой мере в на-

стоящее время любовь к общему благу распространена в обществе и народе русском, об этом мы уж и говорить не решаемся после всего, что на этот счет было писано гг. Щедриным, Печерским, Селивановым, Елагиным и пр. {23}. Собственным примером эти писатели доказали, что любовь к общей пользе доходит в некоторых представителях русского общества до самоотвержения; объективная же сторона их деятельности показала, что самоотвержение русского народа доходит действительно до крайних пределов, даже до глупости. Наши соображения относительно этого предмета покажутся слишком слабыми после прекрасных этюдов названных нами писателей. Впрочем, еще прежде их весьма красноречиво и убедительно говорил об этом известный своим самоотвержением для пользы общей Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, словами которого мы и покончим пока с этим вопросом и с настоящей статьей: «Иной городничий, конечно, радел бы о своих выгодах. Но верите ли, что, даже когда ложишься спать, все думаешь: господи боже ты мой, как бы так устроить, чтобы начальство

увидело мою ревность и было довольно. Наградит ли оно или нет, – конечно, в его воле, – по крайней мере я буду спокоен в сердце. Когда в городе во всем порядок, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяниц мало... то чего ж мне больше? Ей-ей, я почестей никаких не хочу. Оно, конечно, заманчиво... но пред добродетелью все прах и суета!..»

Статья вторая

Мы начали первую статью нашу о г. Жеребцово указанием на те обстоятельства, которые поставляли автора в особенно благоприятное положение при издании его книги. Теперь, приступая к разбору некоторых частностей сочинения г. Жеребцова, мы должны прежде всего заметить, что ни одним из этих обстоятельств он не умел или не хотел воспользоваться. Он как будто позабыл, что пишет в Европе, что издает свою книгу для европейских читателей, не совсем привыкших к тем понятиям, которые так обыкновенные и естественны кажутся у нас. Увлеченный теми патриотическими стремлениями, о которых так много распространялись мы в прошедшей статье, г. Жеребцов не избежал громких фраз и риторических изображений, которыми, конечно, никого теперь не обманешь в Европе. Мало того – в порыве патриотического усердия г. Жеребцов наговорил о любезном отечестве немало таких вещей, которые – совершенно незаслуженно, – бросают на любезное отечество не совсем хорошую тень, хотя

автор, рассказывая все эти вещи, имел в виду единственно превознесение означенного любезного отечества. Все это произошло оттого, что г. Жеребцов слишком уже понадеялся на то, что Европа ничего не знает о России и что, следовательно, ей можно рассказывать все что угодно. Но очевидно, что такая надежда автора слишком преувеличена, и, кроме того, он совершенно напрасно позабыл о том, что если европейские читатели не знают истории и образованности русской, то все же они знакомы хоть с *какой-нибудь* историей и имеют хоть *какую-нибудь* образованность. Смотря на всю Европу с высоты своего славянского величия, г. Жеребцов решительно не хочет признать этого и поступает с своими читателями так, как будто бы они не имели ни малейшего понятия – не только об истории и образованности, но даже о самых простых логических построениях; как будто бы они лишены были не только всяких познаний, но даже и здравого смысла. Столь ложные отношения автора к своим читателям служат источником множества забавных ошибок и ложных положений, наполняющих книгу г. Жеребцова. Трудно

отыскать хотя одну страницу в его исторических обзорах, на которой бы не было самых грубых недосмотров, самых произвольных толкований, самых поразительных неверностей даже в простом изложении фактов. И все это соединяется с резкою самоуверенностью тона, доходящею до того, что личные, ни на чем не основанные догадки автора высказываются как аксиомы, как факты несомненно доказанные! Удивительно, невероятно казалось нам фантастическое произведение русского патриота барона Розена, утверждавшего, что Россия должна гордиться скифским царем Мидиасом, затмившим Александра Македонского, и что «преобладающий скифский элемент» особенно ярко выразился у нас в Святославе, Петре Великом и Суворове{24}. Изумителен и непонятен был нам г. Вельтман, доказывавший, что славянские государства процветали уже задолго до троянской войны и что Борис Годунов был дядя царя Федора Ивановича{25}. Странен и забавен был для нас известный ученый, из патриотизма восхищавшийся тем, что «не жаден русский народ, не завистлив» – ибо «летает во-

круг него птица – он не бьет ее, плавают рыба – он не ловит ее и довольствуется скудной и даже нездоровой пищей»{26}. Но все эти патриоты и ученые должны уничтожиться перед патриотизмом и ученостью г. Жеребцова: он так далеко простер историческое невежество и отсутствие правильности и добросовестности в выводах, что ученые натяжки гг. Розена, Вельтмана, Шевырева и пр. кажутся просто невинной шалостью в сравнении с его умствованиями и изобретенными им фактами. На наших доморощенных ученых можно было смотреть с кротким умилением: они ведь просто забавлялись, шалили для собственного удовольствия... Притом же их фантастические бредни если и выходили иногда из пределов приличия, дозволяемого здравым смыслом, то могли по крайней мере быть извинены тем, что авторы не церемонятся показываться отечественной публике совершенно по-домашнему – небритые, невымытые, не одетые. Но нет этого оправдания для человека, который решается показать себя и Россию Европе, который рекомендуется наставником и просветителем европейской

публики. Он не может представлять своим читателям голые фразы; он должен заpastись хоть какими-нибудь знаниями, хоть немножко промыть себе очи и привести в порядок свои разбросанные мысли. В противном случае автор показывает величайшее неуважение не только к своим читателям, но и к тому предмету, о котором берется рассуждать.

Предмет г. Жеребцова – Россия и ход ее развития – вовсе не так ничтожен, чтобы можно было приниматься за него, не давши себе труда усвоить даже элементарные сведения о внешних фактах, не говоря уже о их внутреннем значении и связи. Нам совестно было бы постоянно следить за г. Жеребцовым в его промахах, выдумках и искажениях фактов русской истории, и мы надеемся, что читатель этого от нас не потребует. Но нельзя же не дать нескольких образчиков того, до какой степени простирается небрежность и неведение автора, и мы решаемся исполнить эту прискорбную обязанность, чтобы не стали нас обвинять в голословности нашего отзыва.

Выбирать у г. Жеребцова не из чего: все равно, куда ни загляни. Поэтому мы и начнем

с самого начала – с основания Руси. Тут ли уж, кажется, не легко автору соблюсти верность и основательность в кратком изложении событий? Сколько об этом было у нас писано, сколько источников под руками, как разъяснен взгляд на эпоху! Посмотрите же, как хорошо г. Жеребцов всем этим воспользовался.

Том I. Стр. 50. «Сподвижники Рюрика носили титул князя, если были его родственники, или мужа, если не были из его фамилии».

Откуда взято такое положительное сведение? Неужели, перенося его из позднейшего периода ко временам Рюрика, – автор не сообразил, что слова *муж* и *князь* не могли быть занесены в Русь варягом Рюриком, что они гораздо ранее существовали в славянских наречиях, без всякого отношения к родословному древу Рюрика, и что во времена Рюрика и Олега летописи упоминают князей, которые вовсе не должны были приходиться роднёю Рюрику. Олег требует с греков «уклады на русские городы, по тем бо городом сядяху князья, под Ольгом суще». Игоревы послы говорят, что они посланы «от Игоря, Ольги и от всякоя княжья»... Не хочет ли г. Жеребцов предста-

вить родословное древо этой «всякой княжьи»? Ему, кажется, очень хочется, чтобы «всякое княжье» не могло происходить иначе, как от Рюрика.

Стр. 50. «Рюрик послал двух из своих мужей, Аскольда и Дира, чтобы они *его* именем заняли город Киев».

Сравните это хоть с рассказом Карамзина, который говорит: «Аскольд и Дир, *может быть* недовольные Рюриком, отправились искать счастья...» В примечании же Карамзин прибавляет: «У нас есть *новейшая* сказка о начале Киева, в коей автор пишет, что Аскольд и Дир, отправленные Олегом послами в Царьград, увидели на пути Киев», и пр... Очевидно, что г. Жеребцову понравилась эта сказка, и он ее еще изменил по-своему для того, чтобы изобразить Аскольда и Дира послушниками великого князя и оправдать поступок с ними Олега.

Стр. 51. «Узнав о неудаче предприятия Аскольда и Дира против Царяграда, Олег подумал, что ему легко теперь овладеть Киевом. С этой целью он пошел на Смоленск» и пр...

Увлечшись мыслью о дипломатической

мудрости Олега, г. Жеребцов не сообразил, что поход Аскольда и Дира на Царьград был в 866 году, еще при Рюрике, и что Олегово княжение начинается, по летописям, только с 879 года, поход же на Смоленск и Киев относится к 882 году. Выходит, что Олег-то 16 лет думал воспользоваться неудачею Аскольда и Дира: плохая дипломатия!

Стр. 52. «Подошедши к Киеву, Олег послал Аскольду и Диру приглашение – *явиться к нему в стан для приветствия князя Игоря, с которым он отправлялся в Константинополь*».

Спрашивается: зачем г. Жеребцов, рассказывая известное предание, искажает его и не хочет сказать, что Олег обманул Аскольда и Дира, назвавшись купцом и не помянув об Игоре?..

Стр. 52. «Олег сделал Киев своею столицею. Может быть, мятежный дух новгородцев и их постоянные республиканские стремления имели влияние на такое решение Олега».

Какое разумное объяснение! Как оно вытекает из характера первых князей русских! И какая честь для мудрого и храброго Олега, что

он бежал от своего народа, опасаясь его либеральных наклонностей!..

Стр. 53. «Олег прибил к воротам Царяграда щит Игоря, с изображением всадника».

Не понравилось г. Жеребцову известие, что Олег прибил свой щит к воротам Царяграда; он и сочинил Игорев щит, да еще и с изображением всадника. Последнее известие взято, конечно, из Стрыйковского, который говорит, что сам видел щит на Галатских воротах, с изображением св. Георгия{27}. Такое свидетельство не могло не прельстить г. Жеребцова; как же не прельститься, – у Олега на щите изображен св. Георгий, и греки от Олега до Стрыйковского любят вражеским трофеем на воротах своей столицы!.. Можно ли не воспользоваться таким великолепным известием? Можно ли за него не чувствовать симпатии к Стрыйковскому, который, между прочим, сообщает и такие известия, что Добрыня (Никитич) был женщина!..

Стр. 54. «Договор Олега заключен был 15 сентября 912 года».

Умеет автор читать летописи! Там сказано: «месяца себтября в 2, а в неделю 15, в лето со-

здания мира 6420». Стр. 55. «Большая часть этих законов (изложенных в договоре Олега) имела силу в Новгороде еще до пришествия норманцев, и по ним-то хотели управляться новгородцы, призывая к себе князей на княжение».

На чем основал автор такое решительное суждение? Не на том ли, что новгородцы часто брали с князей обещание держать их «по льготным грамотам Ярославовым»? Может быть, он полагает, что Ярослав был в Новгороде до пришествия норманнов?

Стр. 55. «В 941 году, воспользовавшись несчастной войною империи с болгарами, Игорь пошел на греков». Удивительно, как неудачно г. Жеребцов навязывает князьям русским дипломатические соображения. Действительно, Симеон болгарский вел войну с императором Романом, но только это было в 929 году. Игорь опоздал 12-ю годами у г. Жеребцова; в 941 году, когда он пошел на греков, то, по известиям наших летописей, «послаша болгаре весть ко царю, яко идут Русь на Царьград».

Стр. 56. «Игорь обязался давать каждому

из своих подданных, отправляющемуся во владения императора, *письменный паспорт*, в котором прописывалась цель путешествия и свидетельствовались мирные намерения путешественника».

Такой смысл придает г. Жеребцов статье договора, где говорится о *послах и гостях*: «Иже посылаеми бывають от них ели и гостье, да приносить грамоту, пишюче сице: яко послах корабль селько. И от тех да увемы и мы, яко с миром приходят». Кажется, это не совсем то, что выводит г. Жеребцов.

Стр. 56. «Игорь в этом году начал новую войну с древлянами, чтобы заставить их увеличить количество платимой ими дани. Получивши дань, он отослал ее в Киев, вместе с частью своей дружины; но (что значит здесь *но*?) древляне, будучи раздражены и пользуясь изнеможением его войска, напали на него и его убили».

Как скромно рассказывает г. Жеребцов похождения Игоря! Иностранцы могут поверить ему; но мы ему напомним простодушный рассказ летописи, не лишенный своего рода занимательности. «В лето 6453 рекоша дружина

Игоревы: отроки свенелжи изоделися суть оружием и порты, а мы нази; пойди, княже, с нами в дань, да и ты добудеши, и мы. Послуша их Игорь, иде в Деревы в дань, и примышляше к первой дани, насиляще им, и мужи его; возъемав дань, поиде в град свой. Идуцю же ему вспять, размыслив, рече дружине своей: «Идите с данью домови, а я возвращюся, похожую и еще». Пусти дружину свою домови, с малом же дружины возвратися, желая больша имения. Слышавше же древляне, яко опять идет, сдумавше с князем своим Малом: «аще ся ввадит волк в овцы, то выносите все стадо, аще не убьютъ его; тако и се, аще не убьем его, то вся нас погубить», послаша к нему, глаголюще: «Почто идеши опять? Поимал еси всю дань». И не послуша их Игорь и вышедше из града из Коростеня, древляне убиша Игоря и дружину его». Вот как происходило дело по сказанию летописи. Напрасно г. Жеребцов в своем рассказе совершенно изменил характер происшествя. Краткость его исторических очерков не может служить ему оправданием.

На стр. 56–57 находится рассказ о воробьях

и голубях, посредством которых Ольга сожгла Коростень, и ни слова не говорится о послах древлянских к Ольге. Видно, что автор счел рассказ о послах баснею, а воробьев принял за чистую монету. По крайней мере предание о воробьях рассказано у г. Жеребцова тоном глубочайшей уверенности в исторической истине события!

Стр. 58. «Ольга обходила свои области, проповедуя евангелие».

Как легко г. Жеребцов выдумывает исторические факты – для красоты слога!.. И каково читателям, когда такие выдумки, искажения и грубые ошибки попадают на каждой странице, а всех страниц около 1200!.. Нам надоедо уже следить за промахами г. Жеребцова; вероятно, и читателям тоже. Поэтому мы прекращаем свои замечания, которые могли бы тянуться в бесконечность, потому что небрежность и недобросовестность поражают читателя на каждом шагу в «Опыте об истории цивилизации в России». Самые элементарные сведения, излагаемые в каждом учебнике, по-видимому, вовсе не известны автору. Он уверяет, например, что по смерти Влади-

мира Русь разделена была на 13 удельных княжеств, так как у Владимира было 12 сыновей, а 13-й – усыновленный Святополк. Между тем о двух сыновьях Владимира прямо говорит летопись, что они умерли прежде отца, а о трех нет сведений, даны ли им уделы, и, кроме того, Святополк везде входит в счет 12 сынов Владимира... Смело утверждает г. Жеребцов, что Святополк убил своих братьев Бориса, Глеба и *Владимира*; между тем известно, что убит был Святослав, а сына Владимира вовсе и не было у Владимира 1-го; – разве это был тот роковой *тринадцатый*, которого сочинил г. Жеребцов. «Не ранее 1033 года Ярослав успел изгнать Святополка из Киева», – положительно утверждает г. Жеребцов; между тем в самом кратком учебнике русской истории вы найдете, что бегство и смерть Святополка относятся к 1019 году. И с такою-то тщательностью составлена вся книга!.. Небрежность автора может равняться только его самоуверенности и хвастливости...

Правда, приближаясь к новым временам, г. Жеребцов становится несколько осторожнее в своих суждениях. Так, например, он

удерживается от всяких заключений относительно смерти царевича Димитрия и говорит о Годунове, что «историческое беспристрастие налагает на нас обязанность не позорить память гениального человека, взводя на него преступление, которое было ему приписываемо особенно потому, что оно ему именно принесло выгоду» (том I, стр. 229). Равным образом, говоря об отречении от престола Петра III, г. Жеребцов весьма благоразумно замечает следующее насчет известного мнения о смерти Петра:

Спустя несколько дней после своего отречения, которого акт был написан весь его собственною рукою, он скончался, как говорят, от геморроидальной колики. Некоторые, основываясь на современных записках, говорят, будто он был отравлен; но где доказательства? Мы имеем об этом только современные рассказы, имевшие основанием единственно слух, ходивший в обществе; но должно ли верить слухам, какие ходят в народе во время подобных переворотов? По крайней мере они не дают нам права пятнать обви-

нением в ужасном преступлении память гениальной женщины, великой государыни (том II, стр. 39),

Нельзя не признать этого замечания г. Жеребцова весьма благоразумным, нельзя на этот раз не отдать чести его осторожности в исторических суждениях. Но, к сожалению, он весьма редко соблюдает эту осторожность; большею частию он не церемонится с фактами и беспрестанно выдумывает то происшествие, то произвольные объяснения их причин и следствий. То скажет, что Святослав перед смертью намерен был произвести гонение на христиан в России, приписывая неудачу своей последней войны гневу богов за терпимость его к христианам... То откроет, что в жизни Владимира отразилось влияние Ольги, которая была его воспитательницей (хорошо было бы влияние: Владимир до христианства отличился братоубийством и несколькими сотнями наложниц!..). То сочинит, что Владимир потому не принял веры римско-католической, что уже предвидел на Западе возможность Григория VII... И такие фантастические вещи являются у г. Жеребцова не только в из-

ложении событий глубокой древности, и даже и в рассказе о временах более новых. Он, например, преспокойно уверяет, что за царем Феодором Ивановичем была княгиня Ирина Годунова, что при Феодоре утверждено было владычество России над Грузиею и всеми горными племенами Кавказа{28}. Изобретения подобного рода ничего не стоят для г. Жеребцова...

Впрочем, мы опять вовлеклись в указание фактических ошибок г. Жеребцова; между тем продолжать это указание мы вовсе не желаем, – сколько из опасения надоесть читателям, столько же и по личному отвращению к подобной работе, которая нам кажется странною и даже совершенно непозволительною в приложении к такой книге, как сочинение г. Жеребцова. Есть люди, которые ужасно любят делать заметки о чужих ошибках, где бы они ни находились и какого бы рода ни были. Услышат ли они немца, плохо говорящего по-русски, – останавливают и поправляют его на каждом слове; заглянут ли в карты к плохому игроку, – тотчас начинают выходить из себя, критикуя каждый ход его; найдут ли тетрадку

пошленьких стишков, переписанных безграмотным писарем, – немедленно примутся читать ее, преследуя на каждом шагу неправильное употребление запятых и буквы *ять*. Делая это, они бывают необычайно довольны собой. Да и как же иначе? С одной стороны, им тут представляется случай выказать собственные познания, насколько их хватит; с другой – они своими замечаниями все-таки оказывают услугу обществу, потому что их поправки если и не выучат немца хорошо говорить по-русски, то по крайней мере докажут слушателям, что действительно – немец говорит неправильно. Подобных людей много является повсюду; есть они и в литературе. Им мы и предоставим подобное перечисление всех ошибок г. Жеребцова; они, верно, не пропустят ничего, что заметить и поправить позволит им состояние их собственных познаний. Вероятно, найдутся и читатели, которые будут очень довольны трудолюбием усердных поправщиков. Что касается до нас, то мы не питаем особенного сочувствия к подобным критикам. Они напоминают отчасти чтение плохой корректуры, а еще более – че-

ловека, который идет с вами по болоту и при каждом шаге кричит: «Здесь вязко, здесь топко, здесь грязно, здесь трясина, здесь болото, здесь увязнуть можно!» Нельзя сказать, чтоб все эти восклицания были несправедливы, но – бесполезны они и надоедают очень уж скоро. И всего забавнее то, что ведь этот человек, кричащий о топкости болота, как бы в предостережение вам, обыкновенно сам не знает болота, по которому идет, и чуть-чуть успеет ступить на твердое местечко, тотчас и уведомляет, что тут уж нет болота, что тут безопасно. А вы тут-то и провалитесь... И выходит, что лучше бы было, если б ваш руководитель не выкрикивал своего мнения о болоте при каждом вашем шаге, а просто предупредил бы вас, что вам предстоит идти через болото и что следует при этом быть осторожнее. Такой образ действия избираем и мы в отношении к «Опыту истории цивилизации в России». Конечно, мы не думаем предостерегать «европейских читателей», для которых писал г. Жеребцов; но мы полагаем, что его книга (уже появившаяся в продаже в Петербурге) легко может попасть в руки и русским

читателям. В прошедшей статье мы объяснили обстоятельства, которые могут заинтересовать русских читателей в пользу книги г. Жеребцова, прежде чем они успеют узнать ее сущность. Прибавим к этому, что до сих пор значительная часть *образованного* русского общества читает охотнее по-французски, чем по-русски, и, следовательно, примется за «Опыт» г. Жеребцова скорее, чем хоть, например, за вышедшую на днях книгу г. Лешкова «Русский народ и государство»{29}, хотя г. Лешков и не уступит в патриотизме г. Жеребцову. Имея это в виду, мы не считаем лишним предупредить читателей, что «Опыт истории цивилизации в России» и действительно можно уподобить топкой трясине, в которой ежеминутно можно погрязнуть в тине лжи, выдумок, безобразных искажений и произвольных толкований фактов. Затем, для совершенной очистки собственной совести, мы представляем читателям источник, из которого можно почерпнуть опровержение главных исторических ошибок г. Жеребцова. Этот источник – «Краткое начертание русской истории» г. Устрялова, изданное для приход-

ских училищ; этого источника очень достаточно. Указавши на него, мы считаем возможным избавить себя от мрачной обязанности составлять перечень фактических погрешностей г. Жеребцова.

Гораздо более интереса представляет для нас другая задача: уловить те начала, которыми руководился автор в своей книге, проследить ту систему мнений, которой он следовал, изобразить тенденции, для выражения которых послужила ему история русской цивилизации. Мы уже коснулись в первой статье взглядов автора на современную цивилизацию в Европе и в России; не мешает рассмотреть и то, путем каких исторических выводов дошел автор до своих оригинальных заключений. Не мешает это и потому, что изложение взглядов и приемов г. Жеребцова может показать, какие понятия возможны еще у нас даже между людьми, принадлежащими к образованному классу общества, путешествовавшими по разным странам Европы, читавшими и узнавшими кое-что, – хотя и поверхностно, – и умеющими написать по-французски два толстых тома о предметах, вызываю-

щих на размышление. Но, кроме этого специального интереса, взгляды г. Жеребцова имеют и более общее значение: мы уже имели случай заметить, что мнения, излагаемые им, близко подходят к системе взглядов целой партии, к которой г. Жеребцов сам причисляет себя. Общие положения г. Жеребцова не им выдуманы; ему лично принадлежат только ошибки и неумение развить эти положения. Вот почему мы и оставляем в стороне его личные промахи и решаемся обратиться к тому, что является в книге его еще не по ошибке и неведению, а намеренно, вследствие принципов, принятых автором.

Противодействие ложной идее, старающейся утвердиться посредством ложного толкования фактов, – составляет, по нашему мнению, одну из важнейших обязанностей современной критики. Ложь, облакающаяся покровом научного, серьезного изложения и несколькими блестками либеральных тенденций, всегда и везде опасна, но особенную опасность представляет она в наше время у нас. Мы только что успели еще понять превосходство мысли и науки пред грубою силой

и потому рвемся неудержимо ко всему, что имеет хотя вид чего-то мыслящего, хотя только претензию на разумность. Мы так разучились рассуждать, что теперь готовы, разинув рот, слушать всякое рассуждение и приходиться от него в восторг только потому, что это все-таки резонное рассуждение, а не бессмысленно заданный урок, который мы должны бессмысленно выучить. Понятно, что в таком состоянии мы беспрестанно подвергаемся опасности сделаться жертвою ловкого шарлатана, который вздумает *заговорить* нас. Так, при первом вступлении в жизнь, попадают в сети мошенников неопытные юноши, которых все воспитание строго сообразовалось с одним великим принципом: «Не рассуждать!»

Полное, грубое невежество, презиращее мысль и правду, вовсе не опасно в наше время: над ним уже всякий смеется, зная, что время преобладания грубой силы прошло невозвратно. Сами противники знания и прогресса очень хорошо понимают это и стараются достигать своих целей, прибегая к помощи того же знания, которое они так не любят.

Таким образом, знание становится в их руках орудием их личных стремлений; истина признается там только, где она удовлетворяет их вкусу, согласна с их выгодами. Собственно говоря, им до истины и дела нет; им нужно только как-нибудь порезоннее вывести свои результаты, заранее уже готовые, – и это очень часто им удается благодаря тому, что для человека вообще очень трудно бывает отрешиться от личных пристрастий и искать только истины.

Особенно легко впасть и ввести других в заблуждение при исследованиях исторических. История представляет собою то же разнообразие, отрывочность и смешанность разных элементов, какие представляются нам и в самой жизни. Поэтому здесь – чего хочешь, того просишь: можно найти данные для подтверждения какой угодно теории. И даже уличить в неправде трудно, потому что итоги фактов не подведены окончательно и группировку их в наших книжках довольно еще бесхарактерна. Невольно соблазняется даже самый добросовестный исследователь и объясняет факты по тем философским убеждениям,

какие уже составились у него в голове. Трудно найти человека, который бы занимался историческими изысканиями, вовсе не предполагая, что из них выйdet, – опровержение ли его убеждений или подтверждение их. Чтобы достигнуть этого, надобно стать выше всех человеческих пристрастий. Можно, конечно, желать этого; но нельзя слишком строго требовать от всякого, занимающегося историею.

Зато можно от каждого требовать по крайней мере добросовестности пред самим собою. Пусть человек приступит к своим занятиям, не вполне свободный от известных идей, заранее им усвоенных; пусть у него вначале будет даже желание разработать факты именно для подтверждения этих идей. По-пусть он не простирает пристрастия к своим идеям до того, чтобы для них искажать факты и прибегать к обману. Как бы ни был человек ослеплен пристрастием, но в глубине его сознания всегда остается еще некоторое чувство истины, которое может вывести его на прямую дорогу. Даже мать, желающая превознести и возвеличить детей своих, – может быть приведена к убеждению в их негодности.

сти, если ей беспрестанно будут представляться факты, свидетельствующие об их дурном поведении. Тем скорее может и должен повить истину ученый, видя, что факты вовсе не благоприятствуют убеждениям, составленным им заранее. Если человек признает факты и все-таки упорствует в том, что этими фактами опровергается, – это уже явный признак некоторого помешательства или природного идиотства. В пример подобного упорства мы можем привести анекдот, недавно слышанный нами. Один ученый хотел каким-то особенным способом добыть калийную соль. Опыты его не удались: *что-то* такое получилось, но в этом *нем-то* калия вовсе не было. Тем не менее ученый остался в полном убеждении, что добытое им что-то было – именно калийная соль; он был очень доволен и рассказывал о результатах своих опытов таким образом: «Я наконец успел добыть калийную соль, и замечательно, что эта соль вовсе не содержит в себе калия!» Такого рода упрямы безвредны: помешательство их обыкновенно бывает кротко и простодушно. Но настоящую язву общества составляют

упрямцы другого рода – недобросовестные. Эти поступают обыкновенно так: если им представляется пять фактов – один в пользу их мнения, один сомнительный и три против них, – то они последние три бросят, сомнительный переделают на свой лад и с особенным ожесточением налягут на тот один, который для них выгоден. С такими господами нечего уже делать: их не урезонишь, потому что они не хотят убеждения, не хотят правды, а видят и знают только то, что им выгодно. Такого рода обращение с наукою действительно неблагоприятно и заслуживает того, чтоб быть выведенным на чистую воду. И само собою разумеется, что вывести его можно не простым пересмотром частных погрешностей, а показанием того, как различные неправды исследователя цепляются за одну главную ложь, положенную им в основание своих изысканий.

Обращаясь к г. Жеребцову, мы считаем необходимым отделить в его мнениях две тенденции – одну общую и наружную, которой он старается щегольнуть явно, и другую личную, более глубокую, которую он тща-

тельно, хотя и не совсем искусно, старается прикрыть. Сначала изложим мнения автора, которые он сам *хочет* поставить на вид.

Общая система мнений, которую избрал г. Жеребцов орудием для своих задушевных целей, – не отличается особенной новостью и оригинальностью. Она представляет довольно монотонные вариации того глубокомысленного замечания, которое поставлено эпитафией нашей статьи. Автор силится везде провести ту мысль, что все бедствия России происходят оттого, что она заимствовала от Запада цивилизацию, которая там делается прескверно. Чтоб убедиться в этом, довольно прочесть оглавление того отдела, в котором г. Жеребцов представляет «*resume analytique*» [6] всей своей книги. Вот, например, каким образом резюмирует он русскую историю:

Благочестие и общинное устройство были основаниями общественного развития в России. – Подражание Западу всегда было пагубно для этого развития. – Международные сношения новгородцев. – Феодалные идеи Рюрика, перенесенные в Киев. – Христианство,

пришедшее из Константинополя. – Различие направлений в развитии Европы и России. – Две общественные основы приходят в Россию из Константинополя и из Новгорода. – Россия спасает Европу от нашествия монголов. – Во время монгольского ига религия спасает народность. – Она господствует над государственной властью. – Религиозное значение царской власти. – Патриархальный и религиозный характер нравов. – Влияние западных идей произвело погибель патриарха Никона. – Реформа Петра Великого. – Ее характер и форма. – Ограничение влияния церкви. – Материальное развитие идет по пути усовершенствования. – Высший класс развращается. – Император Николай производит возврат к народности и православию. Распространение добрых идей в обществе. Русская партия. Купцы и мещане. Народ.

То же самое отвращение к Западу ясно выражается, например, и в оглавлении следующей статьи, в которой г. Жеребцов излагает общий взгляд на историю распространения

знаний в России. Вот какие моменты определяет он (том II, стр. 530):

Знание в древней Руси. – Характер этого знания. – Общее уважение к людям образованным. – Следствие реформы Петра. – Народу нет более времени для приобретения знаний. – Утрата стремления к образованию. – Новое обнаружение этого стремления в продолжение царствования Николая. – Польза соединять приобретение познаний с нравственным воспитанием.

Эти заголовки достаточно уже показывают сущность взгляда автора на исторические события в России. Для желающих знать подробности развития этого взгляда сообщим следующие мысли г. Жеребцова.

История Руси начинается в Новгороде, который еще задолго до IX века находился в цветущем состоянии^{30} и простирал свое влияние от Финляндии за Киев и от Двины до Оки (том I, стр. 40). Благосостоянием своим он обязан был тому, что северные славяне не были вовлечены в общее движение гуннов, устремившихся на запад Европы, и вслед-

ствие того избегли близких столкновений с Западом (том II, стр. 503). Таким образом, в то время когда на Западе происходили сцены варварства, славяне работали для своего нравственного и общественного развития и имели полную возможность достичь замечательного совершенства в политическом и общественном своем устройстве. Но, к несчастью, новгородцы не были совершенно изолированы от Запада: их торговые дела заставляли иметь сношения с западными народами. При этих сношениях они наслышались о силе и храбрости норманнов и, как народ торговый, призвали их, чтобы те служили для Новгорода чем-то вроде наемного войска (том I, стр. 97). Между тем Рюрик принес с собой в Русь феодальные понятия и законодательные идеи, почерпнутые из капитуляриев Карла Великого{31}. Новгородцы увидели, что дело плохо; произошло восстание против иноземного влияния, под предводительством Вадима. Но варяги одолели, и с тех пор «феодальные сеньоры и грубые норманны раздавили своей тяжелой и стеснительной властью цветущую республику новгородскую; после ше-

сти веков непрестанной борьбы с неправо захваченной властью (contre un pouvoir usurpateur) она потеряла наконец свою вольность и сделалась простою провинцией) московской» (том II, стр. 505){32}. Из Новгорода феодальные идеи перешли и в Киев, с Олегом. К счастью, сношения с Константинополем указали русским князьям иной образец государственного устройства: там видели они власть единую и неограниченную; пример этот ослабил феодальные их стремления. Таким образом, вместо настоящего феодализма у нас явилась удельная система. Все бедствия, причиненные ею, должно приписать тому, что мы не убереглись от влияния Запада. Принятие христианства из Константинополя, отдаливши нас от Запада, могло бы, конечно, благотворительно подействовать и в этом отношении. Но, к несчастью, Владимир имел сношения с западными государствами – Стефаном венгерским, Болеславом III богемским и Болеславом I польским. Эти весьма гибельные (bien funestes) сношения поддержали во Владимире феодальную идею, хотя, с другой стороны, его увлекала чисто славянская идея

о праве и связях родовых (du droit et des liens de race). Стараясь соединить эти две идеи, Владимир и принял систему уделов (том I, стр. 73). Гибельные следствия этой системы не препятствовали, впрочем, развитию цивилизации в древней Руси, потому что сношения с Западом вскоре прекратились, и Русь развивалась самобытно. В Европе развивались знания и улучшался материальный быт, при постепенном развращении нравов; в России же сохранялась чистота веры и нравственности, причем она не отставала и на пути просвещения, утверждая его на религиозных основаниях. С другой стороны – в Европе и королевская власть и значение народа были унижены феодалами; в России же все власти были уравновешены (том II, стр. 507). Благодаря этим нравственным условиям Русь могла безвредно вынести все бедствия удельных междоусобий. Те же условия помогли ей вынести и монгольское иго. Собственно говоря, Русь могла бы соединиться с монголами и идти на Европу, которая также неизбежно сделалась бы добычей варваров. Но, одушевленные славянской отвагой и христианской

ревностью, русские сочли бесчестным союз с нечестивыми монголами и приняли на себя те удары, которые назначались монголами для Западной Европы. Так мстила Русь Западу за все то зло, какое от него потерпела!.. Впрочем, самое владычество монголов, предохранив Россию от близких столкновений с Западом, принесло ей великую пользу: оно развило в русских дух благочестия. Религиозное чувство сделалось особенно сильным и всеобщим, и в это-то время основана большая часть русских монастырей (том I, стр. 156). Сила этого чувства вполне сохранилась и по свержении ига, и под влиянием именно восточного православия утверждалась русская монархия в период царей. Об этом мы приведем в точности собственные слова г. Жеребцова:

Правительство составляло полупатриаршество теократическое, цари должныствовали быть жаркими поборниками православия, одушевленными христианской любовью к своим подданным; их нравственность должныствовала быть безукоризненна.

Это самое и обеспечивало для них христианскую покорность их подданных во всем, что только ни касалось православной веры. Сам Иван IV, во время самых ужасных своих жестокостей, не осмеливался предаваться сластолюбию, следуя своим наклонностям.

Единственное нарушение канонических правил, которое он себе позволил, состояло в том, что он семь раз женился, то во вдовстве, то от живых жен. Но и это делал он не иначе, как оградивши себя разрешением восточных патриархов, митрополитов или соборов. Только исполняя все церковные обряды и строго соблюдая все посты, мог он сохранить свою неограниченную власть. Народ его боялся и не любил, но почитал, как помазанника божия, посланного небом в наказание, для очищения вольных и невольных прегрешений каждого (том II, стр. 510).

Во все это время образованность в России, на время задержанная монголами, развивалась с необыкновенным успехом. Образованность народа в России в период царей, до Пет-

ра, была гораздо выше, нежели во всех других странах Европы (том II, стр. 531). В особенности распространено было знание начал христианской нравственности. Вообще русские мало обращали внимания на развитие материальных удобств жизни, а заботились более о нравственном совершенстве, занимаясь учением веры, священной историей и житиями людей, которые могли служить образцами благочестия. Законодательство развивалось во все это время, основываясь на изучении отечественной истории (том II, стр. 533). Для занятий науками у всех были средства и время. Это доказывается тем, что в Новгороде, Москве и, *следовательно*, во всех торговых городах, равно как у князей, царей, бояр и всех поземельных собственников, у купцов и всех почти свободных сословий – были несметные богатства. Это скопление богатств было следствием простой и воздержной жизни русских, которые немного требовали для своего домашнего обихода и, *следовательно*, большую часть своего времени могли посвящать на чтение книг (том II, стр. 532). В то же время уважение к образованности было очень вели-

ко. Это доказывается тем, что уже в древности существовала пословица; «ученье свет, а неученье тьма» и *что* неграмотные называли себя: мы люди *темные* (том II, стр. 531).

Таким образом, все шло прекрасно до тех пор, пока Петр опять не ввел нас в сношения с зловредным Западом. Собственно говоря, Петрова реформа даже и за успех свой должна все-таки благодарить предыдущее развитие Руси. Предшествовавшая Петру гармония между правительством и народом, основанная на православии, произвела в народе полное доверие к своим правителям, и только это доверие произвело то, что Петр мог совершить свои преобразования без открытой оппозиции. Но Петр не был в гармонии с народом. Он подружился с неправославными немцами, жил долго в Голландии, стране протестантской, и вследствие того пренебрег теми началами, на которых постоянно утверждалась народность русская. Он уничтожил патриаршество, как помеху своему произволу, и учредил синод; он оставил без внимания духовное образование и начал заводить светские школы; он обратил особенные заботы

свои на материальные улучшения в стране и дал возможность водвориться безнравственности в высшем обществе, с которого он начал свою реформу. После него зло быстро стало распространяться и усиливаться: в высшем классе общества перестали исполняться церковные обряды, появилось множество знатных господ и госпож, зараженных полковником Вейссом, все пошло на иностранный манер (том II, стр. 518). За высшим обществом потянулось среднее и, разумеется, заразилось еще более. Такое положение дел продолжалось целое столетие, до тех пор, пока не было воздвигнуто новое знамя русского развития с надписью: *православие, самодержавие и народность* (том II, стр. 78)! Сообразно с этими началами в последнюю четверть века преобразованно было все народное образование. Нужно было, чтобы юношество приобретало знания обширные и разнообразные, но имеющие официальный характер. Хотели, чтобы с самого начала нежного возраста дети привыкали к строгому порядку, субординации и подчинению своей воле воле начальства. Не допуская, подобно Ликургу, необхо-

димости семейных нежностей{33}, старались сделать воспитание как можно более общественным, а не семейным. Закрытые учебные заведения необычайно размножились; каждая специальная отрасль знаний имела свое училище. И везде образование опиралось на началах строго народных (том II, стр. 179). При таком толчке, данном обществу, все понеслось по дороге прогресса о быстротою локомотива (том II, стр. 519). Законодательство, администрация, литература, науки, искусства, торговля и промышленность – все оказало безмерные успехи в последнюю четверть века. Только еще любовь к общему благу не успела совершенно овладеть обществом, потому что зло, произведенное в этом отношении реформою Петра, слишком глубоко укоренилось. До Петра все условия общественной жизни Руси необычайно способствовали развитию в ней любви к общему благу. Если бы Петр не изменил направления русской цивилизации, то этот главный элемент ее развился бы превосходно. Но Петр отверг народные начала, и зло овладело обществом. Впрочем, в последнюю четверть века и в этом от-

ношении русское общество далеко подвинулось благодаря началам православия и народности, столь энергически провозглашенным в это время (том II, стр. 520).

Самое лучшее доказательство того, что общество обращается теперь к православию и народности, представляет «m-r le chambellan» [7] Муравьев{34}, который есть в одно и то же время превосходный писатель, искренний и благочестивый христианин и светский человек. Одаренный природным красноречием и проникнутый истинами, которые он исповедует, он не боится возвещать и защищать их в многолюдных собраниях, им посещаемых, и пред многочисленными посетителями его собственного салона. Истины, им исповедуемые и развиваемые, оспариваются слушателями, но наконец проникают в их убеждения. Эти новые адепты сами потом следуют примеру шамбеляна Муравьева, и таким образом религиозные идеи распространяются в обществе единственно силою своей истинности. Это, как видите, повторение философических французских салонов XVIII века, только в другом духе: там разрушали, а здесь создают.

Честь же и слава этому доброму христианину! Семена, посеянные в обществе его словом, уже принесли и еще принесут «благодетельные плоды для нашего любезного отечества» (том II, стр. 521).

Выпискою из сочинения г. Жеребцова этого знаменательного явления можно и заключить изложение системы, принятой автором во взгляде на русскую историю. Прибавлять к нему, кажется, нечего: он говорит сам за себя. Мы старались в нашем изложении как можно ближе держаться подлинных слов автора, стараясь только удалять его частные фактические ошибки и противоречия. Делать замечания на отдельные мысли автора мы не станем, потому что иначе мы обнаружили бы недоверие к здравому смыслу читателей. Но мы не можем удержаться, чтобы не высказать своего глубокого сожаления о главной тенденции автора, которой действительно нельзя не назвать жалкою. Согласно со многими из славянофилов г. Жеребцов полагает, что русский народ находился на пути к прогрессу и уже стоял на высокой степени совершенства нравственного и умственного, когда

Петр внезапно изменил направление русской цивилизации и произвел на целое столетие застой и даже отступление назад в развитии истинно народном. Утверждая это, г. Жеребцов вовсе не думает унижать народ русский, напротив – он во всей книге, отстаивая народность, силится превознести все русское. А между тем какое унижительное понятие о целом народе сообщает он читателю, который вздумал бы поверить всему, что говорит он о реформе Петра. Ведь, конечно, между читателями г. Жеребцова весьма немного найдется таких, которые бы не знали, что история народов зависит в своем ходе от некоторых законов, более общих, нежели произвол отдельных личностей. Зная это, всякий, кому может попасться в руки книга г. Жеребцова, думает, конечно, и о реформе Петра как о явлении совершенно законном и естественном, вызванном исторической необходимостью, обусловленном самим предшествующим развитием древней Руси. Но что должен читатель подумать о русском народе и о всей русской истории, если он поверит г. Жеребцову, что Русь изменила своей народности и мгновенно

приняла новые начала цивилизации, уступая произволу одного человека? Никогда ни один народ, ни в древней, ни в новой истории, не делал таких внезапных отречений от своей народности вследствие воли одной личности. Что же за народ эти русские, так бестолково податливые? И что это за развитие древней Руси, успевшее довести народ до такой эластичности? Человека, меняющего свои воззрения из угождения первому требованию первого ловкого мужчины, не имеющим никаких убеждений. Женщину, уступающую первому требованию первого ловкого мужчины, мы называем дамою легкого поведения. Если так судим мы об отдельных личностях, то что же сказать о целом народе? Г-н Жеребцов замечает, что народ и не принял реформы Петра, а приняло только высшее общество. Но в таком случае что же это было за общество? Значит, оно было хуже народа; отчего же оно было высшее, отчего управляло народом? Стало быть, в древней Руси были совершенно ненормальные отношения между классами общества: худшее стояло на высоте, а лучшее попиралось ногами? В таком случае

где же то совершенство, та гармония общественного развития, которою славянофилы так восхищаются в допетровской Руси? И если действительно народ был так проникнут своими началами, которые ему славянофилы навязывают, то как мог он терпеть уклонение высшего общества от этих начал? Г-н Жеребцов объясняет это тем, что все предшествующее время развивало в народе доверие к высшим. Но, значит, это доверие было слепо и неразумно, когда оно могло довести народ до того, что он смотрел равнодушно на уклонение от самых коренных начал своей народности. И зачем же в таком случае сам г. Жеребцов объясняет падение Лжедмитрия тем, что он не уважал русской народности, не соблюдал постов, не ходил в баню и пр.? Разве Петр менее нарушал русскую народность, по мнению г. Жеребцова с славянофилами? Или пресловутое доверие их явилось в народе только в промежуток времени между самозванцами и Петром? Как вся история-то идет у г. Жеребцова по щучьему велению! Но Петр, говорят, был царь законный, а Лжедмитрий – сомнительный. Однако же и против

Петра были бунты и покушения на его жизнь. Да Петр и делал не то, что Лжедмитрий... Говорят, что преобразования Петра не касались непосредственно народа, захватили только высшее общество. Но изменение администрации простиралось и на народ; переложение податей с сохи на душу, рекрутская повинность – прямо относились к народной массе. Мало того – г. Жеребцов приписывает Петру самое установление крепостного права; кого же это касалось, как не народа? И будто все это могло совершиться внезапно, *ex abrupto*, по выражению г. Жеребцова, без всяких отношений к предыдущему развитию России? Нет, это было бы уж слишком нелепо. Признавая реформы Петра произвольными, сделанными наперекор естественному ходу исторического развития Руси, г. Жеребцов с братиею невольно обнаруживают презрение к русскому народу, неверие в его внутренние силы. Это презрение, находящееся в основе исторических взглядов г. Жеребцова, не прикроют риторические фразы о величии и славе России, обильно рассыпанные во всем «Опыте». История русского развития, представленная г.

Жеребцовым так, как мы изложили выше, произведет на каждого образованного читателя такое впечатление, что ему

*Захочется сказать великому народу;
«Ты жалкий и пустой народ!»{35}*

К счастью, положения г. Жеребцова совершенно ложны, с начала до конца, и едва ли могут ввести в заблуждение читателя, имеющего хоть какое-нибудь понятие о естественном ходе истории. Только крайнее невежество может считать реформы Петра случайным следствием прихотливого произвола этого человека. Человек мыслящий не может не видеть в них естественного последствия предыдущей истории России. Если они были приняты народом без прекословия и рассуждения, даже со всеми несовершенствами, какие в них были, – так и это опять обусловливалось характером исторического развития Руси до Петра. Развитие это было так скудно и слабо, начала, приводящие в восторг г. Жеребцова, так мало проникли в сознание масс, что народу ничего не стоило принять новое на-

правление, имевшее то преимущество перед старым, что заключало в себе зародыш жизни и движения, а не застоя и смерти. Все это должно быть известно всякому мало-мальски образованному человеку, и удивительно, что г. Жеребцов не знает этого или не хочет знать и предполагает, что пышными фразами можно читателям отвести глаза от таких ясных и простых вещей.

Из основного противоречия, указанного нами во взгляде г. Жеребцова, очевидно уже, что он, несмотря на объявление себя ревностным патриотом и защитником народности, вовсе не думал о народе русском, сочиняя свои воззрения. Народ для него, как видно, дело неважное; он не боится унижить и оклеветать народ своими оригинальными соображениями. Главное дело для него состоит в том, чтобы отстоять начала, которыми определялось развитие древней Руси. Но чем же милы ему эти начала? Что сделал ему Запад, и отчего он с таким суеверным благоговением обращается к Востоку? Да и действительно ли начала народности, хотя и ложно понятой, заставляют г. Жеребцова порицать, и уничто-

жать все послепетровское развитие Руси до последнего тридцатилетия, ознаменованного возвратом к народности и православию? Судя по всему характеру труда г. Жеребцова, мы думаем, что нет. Мы готовы представить на это несколько доказательств из книги г. Жеребцова.

Во всем своем труде он беспрестанно уклоняется от мысли, которую принял в основание своих взглядов. Половина страниц всей книги написана *так только*, для того чтобы что-нибудь написать и чтобы книга вышла потолще. В очерке древней истории повторяются сказки о походе Олега и мести Ольги да выдумки «Степенной книги»{36}. В очерках литературы, науки, законодательства, администрации – перечисляются заглавия книг, названия разных властей и должностей, главы судебников и т. п., без всякой даже попытки заглянуть в самую жизнь народа, с которым имели дело эти власти, книги и судебники. Да и самые перечисления делаются крайне забавно, обнаруживая полное невнимание автора к тому делу, за которое он взялся. Например, он говорит о путешествиях русских

ко святым местам и, чтобы дать понятие о богатстве этой отрасли русской литературы в период от свержения монгольского ига до Петра (1480–1689), перечисляет путешествия, которых описания сохранились. Чтобы показать, как нелепо и наобум составлено это перечисление, не нужно никаких замечаний: мы приведем его, только поставивши в скобках годы путешествий, поставленных рядом у г. Жеребцова. «Путешествия по святым местам: Трифона Коробейникова (1583), Василия Гагары (1634), Ионы (1651), Арсения Лелунского (никогда такого не бывало), Антония архиепископа (1200), монаха Льва (мы не знаем такого), Стефана Новгородца (1350), диакона Игнатия» (1389) (том I, стр. 449). Каковы сведения автора о характеризуемой им эпохе? Конец XII века он прихватывает для характеристики периода послемонгольского. Не говорим уж о том, что за важное значение имеют имена этих путешественников для уразумения хода и характера русской цивилизации. Г-н Жеребцов постоянно вращается в кругу подобных мелочей, особенно в новой истории Руси. Тут он упоминает и о том, что г. Феофил

Толстой сочинил несколько прелестных романсов (том II, стр. 393); и о том, что Наполеон III дал орден Айвазовскому (стр. 372);{37} и о том, что г. Лакиер сочинил книгу о геральдике (стр. 322);{38} и о том, что в губернском правлении (в переводе г. Жеребцова: la regence du gouwernement) три советника и один ассессор; и о том, что апрельская книжка «Отечественных записок» (у г. Жеребцова le Contemporain [8]) очень толста и т. д. Само собою разумеется, что даже и эти мелкие сведения перепутаны и искажены в книге, как видно даже из указанных нами примеров[9]. И между тем автор излагает подобные факты даже не мимоходом, не кратко, а очень обстоятельно, не отделяя их от вещей действительно важных. Странно, например, в истории цивилизации встретить подобный рассказ об улучшении конских пород. Факт этот, конечно, имеет важное значение в своем месте; но для чего же вносить его в историю цивилизации? А между тем г. Жеребцов вот с какою обстоятельностью рассказывает о нем на стр. 187-й II тома своей книги:

Было одно время, когда император Ни-

колай обратил особенную заботливость (*sa sollicitude particuliere*) на улучшение пород лошадей в империи. Он выбрал для этой цели человека, который всю свою жизнь служил в кавалерии и имел репутацию одного из отличнейших знатоков по этой части, графа Левашова. Он поручил ему устройство конских заводов и повелел принять все необходимые меры, особенно для улучшения туземных пород. Чтобы придать более значения (*plus d'importance*) этой новой отрасли администрации, император Николай возвысил ее на степень особого министерства. Граф Левашов сделал много распоряжений весьма полезных; но по смерти его это особенное министерство было присоединено к министерству государственных имуществ, как отдельный его департамент.

Не менее странно встречать в «Опыте истории цивилизации» генеалогические подробности о частных лицах. Какое значение для цивилизации русской имело, например, то, что «в 1286 году в Чернигове был боярин Бяконт, который имел в супружестве одну из

дочерей Александра Невского» (семейное предание рода Жеребцовых), что «от этого супружества произошло пять сыновей: Элевферий, Феофан, Матвей, Константин и Александр», и что «от Феофана пошел род Жеребцовых, от Матвея – Игнатьевых» и пр. (том I, стр. 168). Кто может ожидать, что в истории русской цивилизации встретит фамильные предания рода Жеребцовых и подробности об улучшении в России коннозаводства? Какие идеи, какие соображения руководили г. Жеребцовым при подборе фактов, подобных вышеприведенным? Неужели и тут надо видеть основную мысль его – отстоять древнюю русскую народность восточную от тлетворного влияния Запада?

Нет, прочитавши сочинение г. Жеребцова, невольно приходишь к мысли, что и самые начала, защитником которых он выступил, вовсе не так близки душе его, как он старается показать. Если бы, в самом деле, славянофильские теории бескорыстно занимали его, то он постарался бы обработать и провести их хоть немножко потщательнее. А то ведь мало того, что он слишком часто уклоняется от

них, – он впадает в беспрерывные противоречия с собственными воззрениями. Например, он постоянно уверяет, что образованность древней Руси достигала весьма высокой степени во всей массе народа и что, между прочим, знание чужих языков не было редкостью, так как еще отец Владимира Мономаха говорил на пяти языках. И между тем, объясняя, почему Петр давал своим учреждениям иностранные названия, г. Жеребцов говорит: «Может быть, он делал это из желания показать своим подданным, что он знает много языков; это придавало в то время блеск знания и тем самым увеличивало доверие к человеку, до такой степени образованному» (том II, стр. 103). Что сказал бы на такое объяснение почтенный г. Сухомлинов, автор известной статьи о языкознании в древней Руси?{39}

Другой пример. Во всей книге проводятся параллели между Европой и Россией, и оказывается, что во все времена до Петра цивилизация России была выше цивилизации европейской. Начинается с того, что Новгород был цветущей и сильной республикой «в ту

печальную эпоху, когда в Европе римская цивилизация гибла в пламени и в потоках крови» (том I, 49). В монгольский период у нас сохранился «священный огонь любви к знаниям, вера и чистая нравственность, а в народах Европы господствовали невежество и неразвитость умственных способностей, нравственное унижение и готовность поддаться всякому, кто польстит грубым наклонностям» (том I, стр. 208). После монголов то же самое. Законодательство и администрация представляли в Европе безобразную и непонятную смесь; а у нас все было организовано чрезвычайно стройно; каждая часть управления была определена правильно; каждая частность распределена по приказам и пр. (том I, стр. 335). Знания были распространены у нас больше, чем в Европе (том I, стр. 420). О нравственности нечего и говорить. И вдруг, после всего этого, в конце книги г. Жеребцов каким-то манером вычисляет, что новые народы Европы для развития цивилизации имели тысячу лет вперед против нас (том II, стр. 622). Как он эту тысячу высчитал, мы не умели сообразить. Но главное – к чему было ее

высчитывать, ежели мы шли всё наравне с Европой? Очевидно, что г. Жеребцов хотел как-то вывернуться и оправдать запоздалость Руси и при этом совсем позабыл свои параллели. Так точно позабыл он их, сознаваясь при изложении дел Петра, что до него у нас мало было училищ и что все власти были несколько перемешаны.

Вообще видно, что г. Жеребцов не употребляет больших усилий логики для поддержания своих идей. Он, например, хочет доказать, что в весь период царей русский народ очень сильно двигался вперед, а в Европе был застой. Для доказательства он употребляет следующий способ. Иван III, говорит он, был современником Людовика XI, а Петр – Людовика XIV. В промежуток этого времени у нас утвердилось правильное общественное устройство на религиозно-нравственных основаниях; в Европе народ был в дремоте, ничего не делал, и только абсолютизм утверждался все более и более. Знания умножались; но умственные силы находились в застое, а нравственность падала (том I, стр. 514–515). Положим, что кто-нибудь и поверит

в этом г. Жеребцову; но какие же результаты представляет он сам далее? После Ивана III был у нас Иван IV, а во время абсолютизма Людовика XIV у нас утвердился абсолютизм Петра I. Где же благодетельные следствия нашего древнего развития? Попали мы на ту же дорогу, как и Европа, с той только разницей, что она во время борьбы королей с феодалами организовала городские общины, приобрела парламенты, произвела реформацию, а древняя Русь растеряла и свои земские соборы и боярскую думу и произвела только раскольников. Параллель эта прямо бросается в глаза всякому, а г. Жеребцов хочет из нее извлечь какие-то выгоды для древней Руси... Куда уж!..

Но есть же какая-нибудь причина, почему г. Жеребцов стоит за древнюю Русь, хотя и не умеет этого сделать и даже не может как следует понять того дела, которое берется защищать? Конечно, причина есть; но она, по нашему мнению, вовсе не заключается в простодушной любви к народу, которому в древней Руси было будто бы лучше и привольнее, чем ныне. Мы убеждены, что г. Жеребцову в

древней Руси нравится, собственно, одна сторона: родовые отношения. Он везде с особенным умилением говорит о том, как почитается у славян родоначальник фамилии, как старика называют дедушкой, как роды связаны между собою и пр. Самую народность он защищает на том основании, что испокон веку есть на свете разные породы людей, различной пробы, и что вот славянская порода удалась при ее создании лучше, нежели все другие, чем мы и должны гордиться. Таким образом, *народность* г. Жеребцова можно назвать *генеалогическою*. При этом становится совершенно понятною его любовь к древней Руси и ненависть к реформе Петра: эта любовь и ненависть тоже – *генеалогические*. Род, порода, происхождение – вот слова, возбуждающие умиление г. Жеребцова; вот его задушевная идея, прикрытая любовью к народности. Как скоро это открывается, все становится ясным. Ясно, почему бедствия удельной системы произвел г. Жеребцов не из родовых отношений, а из феодальных идей. Ясно, почему всех славянских князей считает он родственниками варяга Рюрика. Ясно, почему он при-

дает такую важность для истории цивилизации фамильным преданиям рода Жеребцовых. Ясно даже и то, почему заняло его улучшение пород лошадей в Российской империи. Везде порода и порода... К ней пристрастен г. Жеребцов, от нее старается он отклонить всякое нареkanie, всякое подозрение. Этим объясняется, между прочим, и то, почему, рисуя картину нравов древней Руси и изображая тогдашнюю общественную иерархию, он ни единого слова не говорит о смешных и гадких проявлениях местничества. Понятно становится и то, почему г. Жеребцов вооружается против *литературных пролетариев*, которые, по его мнению, вовсе неспособны к возвышенным чувствованиям, а умеют говорить только фразы. Понятен для нас и тот подбор ученых историков, юристов и пр., какой сделал г. Жеребцов, говоря о русской литературе и науке. Мы несколько не удивляемся теперь, что он превознес пред Европою г. Морошкина, г. Никиту Крылова, г. Василья Григорьева, г. Шевырева и т. п. и не удостоил упомянуть *Грановского* (!), Кудрявцева, Ешевского, Бабста, Забелина и пр. О Кавелине только упомина-

нуто, что он юрист, между гг. Баршевым и Поповым. На г. Чичерина сделан только намек при определении достоинств г. Никиты Крылова, «недавно отличившегося (dernierement il s'est distingue) опровержением одной диссертации» (стр. 321){40}. Все это совершенно понятно, когда знаешь, что все люди, пройденные презрительным молчанием у г. Жеребцова, весьма мало придают цены генеалогическим привилегиям, которым склоняется г. Жеребцов. Как, право, хорошо, когда поймешь наконец настоящую точку зрения: все понятно, решительно все!

Чтобы для читателей не оставалось уже никакого сомнения насчет задушевной, тайной тенденции, руководящей г. Жеребцовым, мы выпишем несколько мыслей его о русской аристократии из двух мест его книги.

Первое место находится в первом томе, на стр. 271, где г. Жеребцов разбирает общественную иерархию древней Руси:

Служилые люди разделялись на две категории: родословные роды и неродословные роды. В первой заключались все княжеские фамилии, происходящие

от удельных князей, а также фамилии иностранных пришельцев, вступавших в службу московских князей и которых родословная начиналась словами: и был муж честный и пр. Во второй категории заключались все остальные фамилии служилых людей...

Затем объясняется, что быть вписанным в родословные книги значило больше, чем получить княжеский титул. Многие мурзы татарские получили право называться князьями, а в родословные книги все-таки не попали. Далее автор продолжает:

Фамилии, принадлежавшие к категории родословных, пользовались огромными привилегиями; они во всем имели преимущество перед неродословными, до такой степени, что тем даже запрещено было соперничать в чем-нибудь с фамилиями родословными. После уничтожения разрядов при Феодоре Алексеевиче родословные роды все-таки сохранили значительные привилегии. Члены этих фамилий несравненно скорее подвигались в службе, нежели члены фамилий неродословных. Положим, что это было следствие поли-

тического значения этих родов и следствие протекции, какую они оказывали своим собратьям; но право судиться по особым законам (*le droit d'être jugés d'après les lois privilégiées*) и изъятие от всякого рода судебных пошлин – суть привилегии, всегда и везде составляющие принадлежность собственно так называемой знати, аристократии.

Как доказательство, что право вписываться в родословную книгу было наследственное и, следовательно, поистине дворянское и аристократическое, мы скажем, что до Петра Великого ни один из государей не вознаграждал службу подданных пожалованием этого права, а это пожалование было единственным средством получить дворянские привилегии. Следовательно, эти государи смотрели на вписывание в родословную книгу как на привилегию самого рождения, которой они не могли даровать (том I, стр. 271–273).

Другое место, не оставляющее никакого сомнения о причинах неприязненного взгляда г. Шеребцова на Петрову реформу, находится

во втором томе (стр. 71 <и> след.), где г. Жеребцов рассуждает о зловредности чина:

Получая чин, всякий приобретал дворянские права. Главные преимущества дворянства состояли в праве владеть населенными поместьями и вступать в службу, то есть иметь возможность приобретать чины. Петр, чтобы доказать, что дворянство дается не рождением, а службою, взял на московской площади маленького пирожника, Меньшикова, и сделал его своим денщиком, полковником, генералом, светлейшим князем. Вместе с тем, чтобы доказать, что дворянство можно давать и не за военные или гражданские заслуги, он дал дворянство простому кузнецу Акинфию Демидову.

Введя свой табель о рангах, Петр уничтожил всякое различие в правах между древними родословными дворянами и вновь произведенными. В то же время, производя в дворяне всех жильцов, детей боярских и однодворцев, добровольно вступавших в службу, он безмерно увеличил число членов этого дворянства и еще более усилил его, да-

вая возможность достичь дворянства посредством чина, каждому рекруту и каждому писцу.

Такой порядок вещей естественно ввел в благородное сословие массу лиц и фамилий, отличавшихся грубостью нравов поистине плачевною. Порядочные фамилии (*les familles comme il faut*), сделавшись по своим правам равными этой массе, более или менее перемешались с нею и мало-помалу утратили отличительное чувство дворянина, выражающееся в словах: *noblesse oblige*. Дворянство, составленное из огромного количества фамилий, стоявших на самых различных степенях образования, – начиная от бояр и оканчивая детьми боярскими, которые были простыми солдатами или крестьянами, – дворянство это не имело других прав, кроме права владеть крестьянами (*droit de la possession d'esclaves*). Но зато они обречены были на постоянную службу, в которой и члены древних фамилий, так же точно как и новопожалованные дворяне, подвержены были телесному наказанию. Эта мера была, может быть, необходима для ново-

произведенных в это дворянство; но она не могла не быть унижительной для древних родословных дворян, нравственно уничиженных этим смешением и при этом еще принуждаемых к скороспелой цивилизации, так как истинная цивилизация была несовместима с тем общественным положением, и какое они были поставлены (том II, стр. 71, 79).

Кажется, довольно для того, чтобы убедиться, в чем состоят задушевные стремления г. Шеребцова и какие начала прикрываются в его книге разглагольствиями о народности, православии и т. п. Мы не знаем, отчего произошло у г. Шеребцова столь сильное стремление к генеалогическим отличиям. Но, вообще говоря, под покров геральдики, генеалогии, родственных связей и всякого рода протекций – прибегают обыкновенно люди, лишенные внутренней возможности опереться на свои собственные силы, на свое личное достоинство. Дряхлые старички приходят в восторг, смотря на своих детей, племянников, внуков и воображая, что все они будут великими людьми; глупые дети хвалятся обыкно-

венно значением своих отцов, родственников, учителей и т. п. Между взрослыми же людьми встречаются иногда такие, в которых неразумие детства соединяется с старческой дряхлостью; эти с одинаковым безрассудством и наивностью восхищаются и наследственными привилегиями рода и великой будущностью страны, находящейся в младенческом состоянии. Не стоило бы долго толковать с этими престарелыми детьми, если бы, к несчастью, их иллюзии не вводили в заблуждение других, хотя тоже не совсем взрослых, но по крайней мере и не совсем еще одряхлевших людей. Из желания предупредить хоть сколько-нибудь возможность подобных заблуждений мы взяли за разбор книги г. Жеребцова и из того же желания решаемся теперь прибавить еще несколько слов относительно главной тенденции, в ней обнаруженной.

Со времени Крылова, на всю Россию опозорившего надменных потомков славных римских гусей{41}, у нас нет надобности распространяться о том, что защита привилегий породы смешна и постыдна. Тем не менее часто

слышатся выходки против какого-то демократического направления, противопоставляемого аристократии. По нашему мнению, все подобные выходки лишены всякого существенного смысла. Что за аристократы, что за демократы, что за различие пород в одном народе, в одном племени? Совесть обращаться за цитатой к нашему же писателю, излагавшему свои идеи за полтора века до нас; но как не вспомнить при этих выходках слова Кантемира:

*Адам дворян не родил, но одному
сыну
Жребий был копать сад, пасть
другому скотину;
Ной в ковчеге с собою спас все себе
равных,
Простых земледетелей, нравами
лишь славных{42}.*

Конечно, борьба аристократии с демократией составляет все содержание истории; но мы слишком бы плохо ее поняли, если бы вздумали ограничить ее одними генеалогическими интересами. В основании этой борьбы всегда скрывалось другое обстоятельство, го-

раздо более существенное, нежели отвлеченные теории о породе и о наследственном различии крови в людях благородных и неблагородных. Массы народные всегда чувствовали, хотя смутно и как бы инстинктивно, то, что находится теперь в сознании людей образованных и порядочных. В глазах истинно образованного человека нет аристократов и демократов, нет бояр и смердов, браминов и парий, а есть только *люди трудящиеся* и *дармоеды*. Уничтожение дармоедов и возвеличение труда – вот постоянная тенденция истории. По степени большего или меньшего уважения к труду и по уменью оценивать труд более или менее соответственно его истинной ценности – можно узнать степень цивилизации народа. Степень возможности и распространения дармоедства в народе может служить безошибочным указателем большей или меньшей недостаточности его цивилизации. С этой точки зрения, не генеалогические предания и не внешняя стройность государственной организации должны занимать историка народной образованности. Гораздо более заслуживают его внимания, с одной сто-

роны, – права рабочих классов, а с другой – дармоедство во всех его видах, – в печальном ли *табу* океанийских дикарей, в индийском ли браминстве, в персидском ли сатрапстве, римском патрицианстве, средневековой десятине и феодализме; или в современных откупках, взяточничестве, казнокрадстве, прихлебательстве, служебном бездельничестве, крепостном праве, денежных браках, дамах-камельях и других подобных явлениях, которых еще не касалась даже сатира. При рассмотрении всего этого выкажутся и степень распространения знаний в народе и степень его нравственной силы. Нигде дармоедство не исчезло, но оно постепенно везде уменьшается с развитием образованности. Труд считается презренным у народов невежественных, у которых грабеж служит более почетным средством приобретения, нежели работа. Труд не получил надлежащего значения во всем древнем мире, дошедшем только до того, чтобы признать *некоторые* труды приличными лучшим классам общества, а все остальное предоставить рабам. Сам Платон, сочиняя свою республику, признал в ней необходи-

мым рабское сословие, которое бы занималось физическими работами, чтобы доставить все нужное высшим сословиям – правительственному и воинскому. В средних веках, – не говоря о феодализме, – лучшими людьми провозглашены были *artes liberales* [10], то есть только умственные занятия признаны приличными свободным людям; на остальные работы смотрели с презрением. В новой истории совершилось признание всякого труда. Но до сих пор ни одна страна еще не достигла до уменья правильно оценивать труд вполне соответственно его полезности. Часто пользуются почетом занятия вовсе непроизводительные и пренебрегаются труды в высшей степени полезные. Дармоедство теперь прячется, правда, под покровом капитала и разных коммерческих предприятий, но тем не менее оно существует везде, эксплуатируя и придавливая бедных тружеников, которых труд не оценивается с достаточной справедливостью. Ясно, что все это происходит именно оттого, что количество знаний, распространенных в массах, еще слишком ничтожно, чтобы сообщить им правильное

понятие о сравнительном достоинстве предметов и о различных отношениях между ними. Оттого-то, отвергну и заклеивши грабеж под его собственным именем, новые народы все-таки не могут еще распознать того же самого грабежа, когда он скрывается дармоедами под различными вымышленными именами. Правда, теперь самые размеры грабежа уже не те, что были прежде; современные Лукуллы и Вителлий{43} ничего не значат в сравнении с древними. Но все-таки существуют маленькие Лукуллики, и нет сомнения, что они эксплуатируют много народа. Роскошь, с этой точки зрения, составляет действительно одно из главных проявлений общественной безнравственности, но только вовсе не потому, что она разнеживает, ослабляет человека, отводит его мысли от возвышенных идей к материальным наслаждениям и т. п. Вовсе нет, — она есть признак социальной безнравственности потому, что указывает на то печальное положение общества, при котором кровь и пот многих труженников должны тратиться для содержания одного дармоеда.

Смотря на дело таким образом, мы удивляемся, как может г. Жеребцов смотреть с пренебрежением на промышленные успехи России со времен Петра и как может он восхищаться великолепием и обилием досуга у древних бояр московских!

Впрочем, пора уже и расстаться нам с г. Жеребцовым. Читатели из нашей статьи, надемся, успели уже познакомиться с ним настолько, чтобы не желать продолжения этого знакомства. Поэтому, оставляя в покое его книгу, мы намерены теперь исполнить обещание, данное нами в прошлой статье: сделать несколько замечаний относительно самых начал, которые навязываются древней Руси ее защитниками и которые оказываются так несостоятельными пред судом истории и здравого смысла.

Образованность древней Руси развивалась с самых древних времен под влиянием христианства. Этого никто не отвергает и не может отвергнуть. Но защитники древней Руси, рассматривая влияние христианства, представляют дело в каком-то особенном свете. Они, во-первых, приписывают его почему-то

древней Руси преимущественно пред новою; во-вторых, кроме христианства, примешивают еще к делу Византию и Восток в противоположность Западу; в-третьих, формальное принятие веры смешивают с действительным водворением ее начал в сердцах народа. Все это весьма мало имеет оснований в действительности. Конечно, с распространением в России западноевропейской образованности ослабели многие верования, бывшие слишком твердыми в древней Руси. Нарушение постов и некоторых обрядов не считается теперь редкостью, как прежде, и это, конечно, нехорошо. Но надобно же отдать справедливость и новому времени хоть в том, что при распространении новых научных понятий исчезают или ослабевают многие суеверия и грубые обычаи, которыми полна была Русь древняя. И если сравнивать в этом отношении старинное время с новым, то старине никак нельзя отдать преимущества. Ежели ныне верования нередко затемняются блеском кичливого ума, набравшегося светских знаний, – то в древности эти верования страдали от примеси суеверий и грубых предрассудков.

Ныне мешают вере философские воззрения, а тогда мешало язычество: – какая же выгода от этого различия для древней Руси? Равным образом, какая была сладость для народа от связей с Византиею, независимо от живительной силы самого христианства, не изменяющемся от местных и частных отличий? Византия только сообщила России педантизм и мертвенную формалистику, которую она усвоила себе гораздо ранее, нежели началось господство схоластики на Западе. Оттого мертвая буква постоянно занимала русских книжников, как бы вовсе не чувствовавших потребности в живом веянии духа. Как на доказательство образованности указывают часто на множество списков книг церковных, существовавшее в древней Руси. Но безобразные искажения в этих списках, известные из истории исправления книг, именно доказывают, что переписка была весьма часто бессмысленна. Следовательно, обилие списков (если и допустить, что оно было так велико, как предполагают некоторые) может быть важно только разве для истории каллиграфии, а никак не для истории образованности

народа. То же влияние византийского педантизма видим мы и в самых расколах русских: значительная часть их произошла из-за внешних формальностей. И в то время, когда в Европе общее умственное движение возбуждено было Реформацией, у нас все спорило о нескольких словах и фразах, искаженных в книге безграмотными и бестолковыми переписчиками. Подавляя нас своим педантизмом в теории, чем же могла Византия IX века научить нас на практике? Льстивость, хитрость и вероломство были отличительными, объявленными качествами греков, современных образованию русского государства. Русские до принятия христианства ездили в Константинополь продавать там рабов; при византийском дворе они видели пышность и роскошь, которые дразнили их. Все это не слишком благотворно могло действовать на нравы древней Руси.

Без всякого сомнения, принятие христианства при Владимире много смягчило и улучшило нравы. Но это необходимо должно было идти постепенно, а византийский формализм не только не содействовал улучшению народ-

ной нравственности, но даже как будто пренебрегал им, обращая все свое внимание на внешность. Оттого-то мы и видим, что общественная нравственность в древней Руси была в состоянии весьма печальном. Не решаясь пускаться в подробные изыскания, мы приведем здесь лишь несколько заметок на этот счет из наиболее известных и уважаемых у нас источников.

«Купель христианская, освятив душу Владимира, не могла вдруг очистить народных нравов», – говорит Карамзин (том I, стр. 154). Ту же мысль подробнее развивает г. Соловьев в следующих словах:

Понятно, что древнее языческое общество не вдруг уступило новой власти свои права, что оно боролось с нею, и боролось долго; долго, как увидим, христиане только по имени не хотели допускать новую власть вмешиваться в свои семейные дела; долго требования христианства имели силу только в верхних слоях общества и с трудом проникали вниз, в массу, где язычество жило еще на деле, в своих обычаях. Вследствие родового быта у восточ-

ных славян не могло развиться общественное богослужение, не могло развиться жреческое сословие; не имея ничего противопоставить христианству, язычество легко должно было уступить ему общественное место; но, будучи религиею рода, семьи, дома, оно надолго осталось здесь. Язычник русский, не имея ни храма, ни жрецов, без сопротивления допустил строиться новым для него храмам, оставаясь в то же время с прежним храмом – домом, с прежним жрецом – отцом семейства, с прежними законными обедами, с прежними жертвами у колодца, в роще. Борьба, вражда древнего языческого общества против влияния новой религии и ее служителей выразилась в суеверных приметах, теперь бессмысленных, но имевших смысл в первые века христианства на Руси: так, появление служителя новой религии закоренелый язычник считал для себя враждебным, зловещим, потому что это появление служило знаком к прекращению нравственных беспорядков, к подчинению его грубого произвола нравственно-религиозному закону (Со-

ловьев, «История России», том I, стр. 291).

Замечания г. Соловьева совершенно объясняют, какое значение нужно придавать сведениям о распространении церквей, монастырей и т. п. в древней Руси. Очевидно, что это распространение никак не может служить мерилom того, как глубоко правила новой веры проникли в сердца народа. К этому можно прибавить заметку г. Соловьева и о том, что самые известия о содержании церквей щедротами великих князей могут указывать на недостаточность усердия новообращенных прихожан.

Нельзя не заметить, что даже замечание г. Соловьева о том, что в «верхних слоях общества новая вера скоро получила силу», требует значительных ограничений. Множество фактов говорит против него. Добрыня и Путята, крестившие новгородцев огнем и мечом, конечно не была проникнуты началами любви христианской. Ярослав, поднявший оружие против отца, обманувший и избивший новгородцев, поступал, конечно, противно христианской нравственности. Святополк, из-

бивший братъев, представляет ужасное явление среди новообращенного народа, в котором, однако же, нашлось много пособников для исполнения кровожадных замыслов этого князя. Междоусобия Изяслава, Всеволода и последующих князей, вероломство Олега Святославича, ослепление Василька тотчас после мирного съезда князей и крестного целования, кровавая вражда Олеговичей и Мономаховичей, – вот явления, наполняющие весь домонгольский период нашей истории; видно ли из них, что кроткое влияние новой веры глубоко проникло в сердца князей русских? А подобных явлений не мало можно отыскать и в последующей истории Руси.

И не только частные факты доказывают, что язычество долгое время было сильно у нас даже в верхних слоях общества; то же самое видно из законодательства. Многие статьи Ярославовой «Правды» носят на себе несомненные признаки языческого происхождения. На забудем, что в ней узаконяется родовая месть и холоп признается вещью.

Общественная нравственность была в весьма печальном состоянии во весь допет-

ровский период. При Владимире царствовали по всей Руси грабежи и убийства, по принятии христианства Владимир из человеколюбия не хотел казнить разбойников, а брал только *виры*, и разбои умножились, так что сами епископы должны были просить его, чтоб он опять принялся казнить (Полное собрание летописей, I, 54). В уставе о церковных судах, приписываемом Ярославу, находится изложение бесчисленного множества самых тонких подразделений любоддеяния, с определением за него денежных штрафов (Карамзин, том II, пр. 108){44}. Митрополит Иоанн писал в конце XI века: «О, горе вам, яко имя мое вас ради хулу принимает во языцех! Иже в монастырех часто пиры творят, сзывают мужи вкупе и жены, и в тех пирех друг другу преспевают, кто лучший творит пир» (Карамзин, том II, пр. 158). О нравах XII века свидетельствует Нестор, говоря в летописи, что мы только словом называемся христиане, а живем *поганьскы*. «Видим бо игрища утолочена, и людей много множество, яко упихати начнут друг друга, позоры деюще от беса замышленного дела, а церкви стоят; егда же бывает

год молитвы, мало их обретается в церкви» (Полное собрание летописей, I, 72). Из XIII века можно привести отрывок одного поучения Серапиона: «Много раз беседовал я с вами, желая отвратить вас от худых навыков; но не вижу в вас никакой перемены. Разбойник ли кто из вас, – не отстает от разбоя; вор ли кто, – не пропустит случая украсть; имеет ли кто ненависть к ближнему, – не имеет покоя от вражды; обижает ли кто другого, захватывая чужое, – не насыщается грабежом; лихоимец ли кто, – не перестает брать мзду» («Обзор духовной литературы» Филарета, 50{45}). В начале XIV века митрополит Петр в окружном послании запрещает духовенству заниматься торговлей и давать деньги в рост (там же, 67). В начале XV века Фотий, вследствие некоторых беспорядков, писал послание к новгородскому духовенству, предписывая, что «в котором монастыре живут черницы, там не должны жить черницы, – и где будут жить черницы, там избрать священников с женами, а вдового попа там не должно быть» (там же, 88). Еще через столетие один священник, Георгий, представлял собору 1503 года: «Господа

священноначальники! Недуховно управляют-ся верные люди: надзираете за церковью по обычаю земных властителей, чрез бояр, дворецких, тиунов, недельщиков, подводчиков, и это для своего прибытка, а не по сану святительства» (там же, 113). Такого рода разнообразные обличения обращались весьма нередко даже и к лицам духовным; что же говорить о мирских людях? Карамзин отзывается, что в монгольский период вообще «отечество наше походило более на темный лес, нежели на государство: сила казалась правом; кто мог, грабил, – не только чужие, но и свои; не было безопасности ни в пути, ни дома; татьба сделалась общею язвою собственности» (V, 217). По свержении монгольского ига нравственное состояние общества немного улучшилось. Об этом можем судить по известиям иностранцев и по некоторым русским сочинениям того времени. Заключение выводится очень неблагоприятное: праздность, пьянство, обман, воровство, грабеж, лихоимство, роскошь высших классов, бесправие и нищета низших – вот черты, приводимые у Карамзина (том VII, глава 4; том X, глава 4), которого

никто не назовет противником древней Руси. Надеемся, всякий согласится, что общество, в котором господствуют подобные пороки, не совсем удобно превозносить за глубокое проникновение нравственными началами христианства. Влияния византийского тут, конечно, отрицать нельзя; но едва ли стоит тщеславиться его проникновением в русскую народность.

Истинные начала Христовой веры не только не отражались долгое время в народной нравственности, но даже и понимаемы-то были дурно и слабо. Во весь допетровский период в нашей духовной литературе не прерываются обучения против суеверий, сохраненных народом от времен язычества. Нестор с негодованием говорит о суеверах, боящихся встречи со священником, с монахом и со свиньей (Лаврентьевская летопись 1067 года, Стр. 73), а между тем сам он, несмотря на свою значительную по тогдашнему времени образованность, беспрестанно обнаруживает собственное суеверие. То его смущают знамения небесные, то урод, вытащенный из реки, кажется зловещим признаком, то злобный ха-

рактиер князя объясняется волшебной повязкой, которую носил он от рождения, и т. д. Древнейший письменный памятник нашей поэзии – «Слово о полку Игореве», конца XII века – отличается совершенно языческим характером. В XIII и даже XIV веках сохранялось еще языческое богослужение во многих местах. Об этом есть свидетельство в Паисиевском сборнике{46}. Несколько ранее этого времени есть свидетельство (в «Слове Христолюбца»{47}) о том, что язычество долго держалось даже в образованных слоях общества. Христолюбец говорит, что много есть христиан, «двоверно живущих, верующих и в Перуна, и в Хорса, и в Мокошь, и в Сима, и в Ргла, и в Вилы... Огневи ся молять, зовуще его Сварожицем, и чесновиток богом творять... Не токмо же се творять невежи, но и вежи, попове и книжники» (Филарет, «Обзор духовной литературы», 48). Какую роль волшебство и чародейство постоянно играло в древней Руси не только в простом народе, но даже при дворе и среди самого духовенства, – известно, конечно, всем и каждому. «Стоглав»{48} свидетельствует, между прочим, что даже неко-

торые чернцы пользовались суеверием народа, так как в это время, хотя и воздвигалось множество новых храмов, но истинного усердия к вере не было, а делалось это единственно по тщеславию. Вообще постановления Стоглавого собора дают много весьма грустных свидетельств о духовном состоянии Руси в половине XVI века. Мы не хотим приискивать самых мрачных его обличений, а просто приведем те из них, которые указываются у Карамзина (том IX, стр. 271–272), вовсе не желавшего выбирать только худшее.

Да никто из князей, вельмож и всех добрых христиан не входит в церковь с главою покровенною, в тафьях мусульманских. Да не вносят в алтарь ни пива, ни меду, ни хлеба, кроме просфор. Да уничтожится на веки нелепый обычай возлагать на престол так называемые сорочки, в коих рождаются младенцы... Злоупотребления и соблазны губят нравы духовенства. Что видим в монастырях? Люди ищут в них не спасения души, а телесного покоя и наслаждений. Архимандриты, игумены не знают братской трапезы, угощая

светских друзей в своих келиях. Иноки держат у себя отроков и юношей; принимают без стыда жен и девиц, разоряют села монастырские. Обитатели, богатые землями и доходами, не стыдятся требовать милостыни от государя: впредь да не стужают ему. Милосердие христианское устроило во многих местах богадельни для недужных и престарелых, а злоупотребление ввело в оные молодых и здоровых тунеядцев. Многие иноки, черницы, миряне, хвалясь какими-то сверхъестественными сновидениями и пророчеством, скитаются из места в место с святыми иконами и требуют денег для сооружения церквей, непристойно, бесчинно, к удивлению иноземцев... Духовенство обязано искоренять языческие и всякие гнусные обыкновения. Например, когда истец с ответчиком готовятся к бою, тогда являются волхвы, смотрят на звезды и пр. Легковерные держат у себя книги аристотелевские, звездочетные, зодиаки, альманахи, исполненные еретической мудрости. Накануне Иванова дня люди сходятся ночью, пьют, играют, пляшут целые

сутки; также безумствуют и накануне рождества Христова, Василия Великого и богоявления. В субботу троицкую плачут, вопят и глумят на кладбищах, прыгают, бьют в ладоши, поют сатанинские песни. В утро великого четверга палят солому и кличут мертвых; а священники сей день кладут соль у престола и лечат ею недужных. Лжепророки бегают из села в село, нагие, босые, с распущенными волосами; трясутся, падают на землю, баснословят о явлениях св. Анастасии и св. Пятницы. Ватаги скорморохов, человек до ста, скитаются по деревням, объедают, опивают земледельцев, даже грабят путешественников на дорогах. Дети боярские толпятся в корчмах, играют зернью, разоряются. Мужчины и женщины моются в одних банях, куда самые иноки, самые инокини ходить не стыдятся. На торгах продают зайцев, уток, тетеревей удушенных; едят кровь или колбасы, вопреки уставу соборов вселенских; следуя латинскому обычаю, бреют бороду, подстригают усы, носят одежду иноземную, клянутся во лжи именем

божиим и сквернословяют; наконец, – что всего мерзостнее и за что бог казнит христиан войнами, голодом, язвою, – впадают в грех содомский (Карамзин, том IX, стр. 271–273, прим. 822–831).

Такой картины нравов (при всей смешанности понятий, господствующей в самом обличении), конечно, никто не назовет отрадною; а нужно прибавить, что Карамзин еще значительно смягчил многие выражения «Стоглавника». Пусть же судит по этому беспристрастный читатель, до какой степени одушевлено было русское общество теми высокими нравственными началами, которые должны были сделаться ему известными, – и формально были известны, – со времени Владимира.

Другое прекрасное явление древней Руси, способствовавшее прочному ее развитию и преуспеянию, указывают в патриархальности ее общественного устройства. «Все было гармонично, все оживлялось одним духом, во всем была простота и радушие, – говорят поклонники древней Руси. – Древнюю Русь нуж-

но представлять себе огромную нравственную равнину: не было у нее ни лиц, ни словий, которые бы резко выделялись из массы, подлежащей общему уровню. Но эта равнина была подвижна, жива, растуща. Все в ней сливалось в удивительной гармонии. Государственная власть соответствовала потребностям народа; в своих действиях она опиралась на дружину, совет старцев, думу боярскую, городское вече, – и ими уравновешивались ее определения с волею народа. Высшее сословие – бояре служили органами, в которых воплощалось все лучшее, выработанное народной жизнью и требовавшее распространения в массах. Их привилегии были основаны не на чинах и почестях, а на самом существенном из прав – праве рождения, и все почитали это право священным и ненарушимым. Они не были связаны обязательной службой, но участвовали в делах правления из любви к общему благу. В то же время господствовали в России общественность и всенародность; суд и расправа были словесные и короткие; всенародность суда обуславливала его честность. Права сословий выросли из са-

мой жизни; просвещение срослось с народом. Все это вело к консерватизму, который, однакоже, не был застоєм, а плавным движением целого океана волн. Столь восхитительное общественное устройство отразилось и на жизни семейной: тишина, скромность, целомудрие, нежная покорность старшим составляли ее отличительные качества; в то же время гостеприимство и радушие украшали семью; на в его отношениях ко всем членам общества».

Так воспевают древнерусскую патриархальность многие ее поклонники. Они утешаются прекрасным ее изображением и находят, по-видимому, весьма удобным пробовать на себе слова поэта:

*Порой опять гармонией упыюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь
{49}.*

Они действительно готовы проливать слезы умиления над вымышленной ими гармонией всех сил и явлений древней Руси. Может быть, это и хорошо, и даже полезно для забвения всех современных зол; может быть,

мы и сами были бы довольны, если бы нашли возможность сочинять для себя такого рода утешения. Но, к несчастью, не всякому дается такая пылкая фантазия, как, например, гг. Розену, Вельтману, Классену{50} и им подобным лицам, у которых небывалые факты истории так и снуют в голове, точно фантастические призраки в сказках Гофмана. При всех наших усилиях мы никак не можем вообразить древнюю Русь столь прекрасною и блаженною, как бы нам хотелось, если факты действительности говорят противное. А факты говорят вот что.

Настоящая государственная власть в древней России не существовала по крайней мере до возвышения государства Московского. Древние князья называли Русь своею *отчиною* и действительно, как доказал недавно г. Чичерин, владели ею скорее по вотчинному, нежели по государственному праву{51}. По утверждении же Московского государства, — одна уже возможность такой личности, как Иван Грозный, заставляет отказаться от обольщения относительно силы и значения думы боярской или какого бы то ни было *урав-*

новешивающего, влияния.

Сословия древней Руси вовсе не представляются в такой гармонии, как хотят нас уверить. Боярство отличалось спесью пред низшими (которая, однако же, не исключала раболепства) и безобразными ссорами меж своими. Местнические расчеты и бывавшие при них проделки – известны всякому. Отношение бояр к сельскому населению видно из свидетельства Кошихина{52}, который говорит, что бояре держат при себе людей до 100 и даже до 1000 и что некоторых из них посылают в вотчины свои «и укажут им с крестьян своих имати жалованье и всякие поборы, чем бы им поживиться» (Кошихин, стр. 126). К этим людям были, впрочем, у бояр и другие отношения, о которых мы узнаем из Желябужского. Эти отношения вот какого рода: князь и бояре отправлялись на разбой с своими людьми и грабили проезжих... Делать это можно было им с некоторой надеждой на безнаказанность, хотя иногда и доставались им батоги и кнут за подобные похождения (Желябужский, стр. 9{53}). Впрочем, вообще, по замечанию Карамзина (X, 142), «для благо-

родных людей воинских облегчали казнь: за что крестьянина или мещанина вешали, за то сына боярского сажали в темницу или били батогами. Благородные люди воинские имели еще, как пишут, странную выгоду в гражданских тяжбах: могли вместо себя представлять слуг своих для присяги и для телесного наказания в случае неплатежа долгов». Карамзин говорит: «как пишут»; но факт этот несомненен. Он до такой степени вошел в обычай древней Руси, что даже послужил предметом злоупотреблений и подьяческого мошенничества. У Желябужского под 7201 (1693) годом находим: «Земского приказа дьяк Петр Вязмитин перед Московским судным приказом положен на козел и вместо кнута бит батоги нещадно: своровал в деле, *на правез ставил своего человека вместо ответчикова*» (Желябужский, стр. 13).

Утверждают некоторые, будто Петр утвердил крепостное право в России{54}. Не станем здесь распространяться о том, до какой степени произвольно такое мнение. Для нашей цели будет достаточно, если мы приведем мнение о состоянии рабов и свободных земле-

дельцев опять-таки из Карамзина (VII, 128–129). «Гораздо несчастнее холопства, – говорит он, – было состояние земледельцев свободных, которые, нанимая землю в поместьях или в отчинах у дворян, обязывались трудиться для них свыше сил человеческих, не могли ни двух дней в неделе работать на себя, переходили к иным владельцам и обманывались в надежде на лучшую долю: ибо временные корыстолюбивые господа или помещики нигде не жалели, не берегли их для будущего. Государь мог бы отвести им степи, но не хотел того, чтобы поместья не опустели, и сей многочисленный род людей, обогащая других, сам только что не умирал с голоду. Старец, бездомок от юности, изнузив жизненные силы в работе наемника, при дверях гроба не знал, где будет его могила... Вероятно, что многие земледельцы шли тогда в кабалу к дворянам; по крайней мере знаем, что многие отцы продавали своих детей, не имея способа кормиться». Если таково было положение земледельческого класса, то стоит ли хлопотать о том, какое носил он название? *«Сей многочисленный род людей, обогащая других,*

сам только что не умирал с голоду» — этого довольно. Более мы ни о чем не хотим спрашивать.

Поставим еще раз на вид читателям, что мы нарочно обращаемся за цитатами к Карамзину, как приверженцу допетровской Руси. Известно, что он, в своем сочинении «О древней и новой России», не только восхищался временем царей Михаила и Алексея, но даже и всем московским периодом. Он говорит, что «политическая система государей московских заслуживала удивление своею мудростию, имея целию одно благоденствие народа», и что «народ, избавленный князьями московскими от бедствий внутреннего междоусобия и внешнего ига, не жалел о своих древних вечах и сановниках; довольный действием, не спорил о правах. Одни бояре, столь некогда величавые в удельных господствах, роптали на строгость самодержавия; но бегство или казнь их свидетельствовали твердость оного» (Карамзин, Эйнерлинг, Приложения, стр. XLII). Очевидно, что Карамзин был вполне доволен положением дел в древнем Московском государстве. Но при своей

добросовестности он не считал удобным скрывать или искажать, подобно г. Жеребцову, печальные факты внутреннего быта, представлявшиеся ему в источниках.

Высшее боярство, поставленное в таких выгодных отношениях к народу, и само не было, однако же, в древней Руси вполне обеспечено в своих гражданских правах. Бояре не ходили пешком, не хотели знаться с купцами и мещанами, требовали, чтобы никто не смел въехать к ним на двор, а чтоб все оставляли лошадей у ворот; но это не спасало их от многих вещей, довольно унижительных. Мы уже не говорим о разных обрядах и обязанностях придворной службы древнерусской, описанных у Кошихина. Укажем только на то, что даже высшие бояре не изъяты были от телесного наказания. Влияние ли это татарщины, или национальное произрастение (как можно подумать, судя по тому, что есть рьяные защитники и почитатели его, вроде г. Жеребцова и князя В. Черкасского, недавно прославившегося требованием восемнадцати (18) ударов, в «Сельском благоустройстве»{55}, – во всяком случае, кнут, плети, батоги были весь-

ма знакомы спинам спесивых бояр древней Руси. Раскройте дела о местничестве, акты, разрядные книги; посмотрите записки Желябужского, – вас изумит щедрость, с какою телесное наказание рассыпалось всем и каждому. При этом нужно заметить, что напрасно воображают некоторые и то, будто бы в древней Руси не было обязательной службы для высшего сословия. Говоря это, разумеют обыкновенно военную службу, упрекая Петра за то, что он насильно забирал дворян в армию. Но обязательность военной службы для дворян была постоянно признаваема в Московском государстве; разница только в том, что войска регулярного не было, а следовательно, и служба была не регулярна. Но зато в случае надобности требовалось, чтобы дворяне немедленно являлись на службу; если же они не шли, то записывались *нетчиками* и строго наказывались. Еще задолго до Петра являются в правительственных распоряжениях весьма суровые упоминания об этих нетчиках. Вот, например, распоряжение, записанное в разрядной книге 7123 года («Временник» 1849 года, ч. I, стр. 7{56}): «А которые

(дворяне и дети боярские) учнут послушаться и с ними на государеву службу не поедут, и тех бить батоги и в тюрьму сажать... И им тех городов дворян и детей боярских, велети имая приведчи к себе и бить велеть по торгом кнутом и сажать в тюрьму; а из тюрьмы выимая велети их давать на крепкие поруки с записями, что им быти с ними на государеве службе; и отписывать поместья и приказывать беречь до государева указа, и отписных поместий крестьянам слушать их ни в чем не велеть». Нужно заметить, что такое распоряжение сделано в 1615 году, когда только что воцарился кроткий Михаил после кровавых смут времени самозванцев и междуцарствия...

Судоустройство и судопроизводство, администрация и законодательство также находились у нас до Петра вовсе не в таком блистательном состоянии, как некоторые хотят уверить. Самые законы древней Руси не всегда были хорошо соображены с нуждами народа. Сначала византийское право явилось у нас ни к селу ни к городу, совершенно внезапно. Затем татарские отношения не остались без

влияния на законодательство. Вообще с XI века до Ивана III мы, по замечанию Карамзина, «не подвинулись вперед в гражданском законодательстве, но, кажется, отступили назад к первобытному невежеству народов в сей важной части государственного благоустройства» (Карамзин, V, 228). Тут же историк замечает, что отсутствие письменных постоянных правил суда зависело от того, что князя «судили народ по необходимости и для собственного прибытка» и потому старались избирать кратчайший и простейший способ решения тяжб... С изданием «Судебников» 1450 и 1550 годов и еще более по составлении «Уложения»{57} судопроизводство должно было определиться несколько лучше. Но все-таки в нем оставалась достаточная доля неопределенности, для того чтобы можно было запутать всякое дело. Решительное смешение судебных и административных властей много помогало этому; а всеобщая безнравственность делала бессильною всякую попытку водворить правду в судах. Уже при сыне Ярослава Всеволоде (в конце XI века), по известию летописи, «начаша тиуни грабити, людей

продавати, князю не ведущу» (Полное собрание летописей, том I, стр. 93). Под 1038 год летописец замечает о жителях прибрежий Сулы (посульцах), что им была от посадников такая же пагуба, как от половцев (Полное собрание летописей, том I, стр. 133). У князя Игоря Ольговича (1146 год) киевляне просили правосудия, жалуясь на тиунов предыдущего князя. Игорь дал обещание сменить хищников, но не исполнил своего слова, и киевляне призвали на княжение Изяслава (Карамзин, II, 123). На Андрея Боголюбского было неудовольствие народа за лихоимство судей; по убийстве его самого (1174 год) бросились к посадникам, тиунам, «и дома их пограбиша, а самих избиша, детцкие и мечники избиша, а дома их пограбиша, – не ведуче глаголемого: идеже закон, ту и обид много», – наивно прибавляет летописец (Полное собрание летописей, том I, стр. 157). В XIII столетии читаем жестокие обличения против неправосудия и мздоимства в словах Кирилла митрополита. В одном из них говорится: «Иже бо без правды тивун, кождо осудив, продаст и теми кунами купит себе ясти и пити, и одеяние себе, и

вам теми кунами купят обеды, и пиры творят: се, якоже, рекохом, вдали есте стадо Христово татем и разбойником» (см, Филарета «Обзор духовной литературы», 59), В «Слове Даниила Заточника» (XIII век) говорится: «Не держи села близь княжего села, ибо тиун его – как огонь палящий, а рядовичи его – как искры. Если от огня и убережешься, то от искр уж никак не устережешься». Вообще в XIII и XIV веках, по замечанию Карамзина, само законодательство наше было таково, что вело к злоупотреблениям: ни вы чем не было твердых оснований, все зависело от произвола (Карамзин, V, 226). С XV века идет уже непрерывный ряд свидетельств о неправосудии и взяточничестве дьяков и подьячих. Рассказывают, что однажды Василий Иванович призвал к себе судью, уличенного во взятке, и вздумал строго допрашивать. Судья не смешался и привел в свое оправдание то, что, по его мнению, всегда богатого должно оправдать скорее, чем бедного, так как богатый менее имеет надобности совершать преступления (Карамзин, VII, 123). В XVI веке, когда явилось строгое преследование взяточничества законом, по-

дьячие выдумали спекуляцию на народное благочестие: челобитчики, «входя к судье, должны были класть деньги перед образами, будто бы на свечку» (Карамзин, X, 141). Эта выдумка была наконец запрещена указом; но не решались никакими указами уничтожить подарки судьям перед праздниками, сделавшиеся в это время уже священным обычаем. Судейские нравы XVII столетия известны всем по сказаниям Кошихина, так часто приводимым в исторических изысканиях о России предпетровского времени. Какие проделки употреблялись в судах, можно видеть из нескольких заметок Желябужского. Например, Петр Кикин пытан на Вятке за то, *что подписался было под руку думного дьяка Емельяна Украинцева.* – Федосий Хвоцинский бит кнутом за то, *что своровал, – на порожнем листе составил было запись.* Князь Петр Кропоткин бит кнутом за то, *что он в деле своровал, – выскреб и приписал своею рукою* (стр. 7). Дмитрий Камынин бит кнутом за то, *что выскреб в поместном приказе, в меже с патриархом* (стр. 9), Леонтий Кривцов пытан за то, *что он выскреб в деле.* Пытан дьяк Иван

Шанин, – с подьячим своровали в деле в приказе Холопъего суда. – Бит батогами Григорий Языков за то, что он своровал с площадным подьячим, с Яковом Алексеевым, – в записи написали задними числами за пятнадцать лет (стр. 13), Федор Дашков, поехавший было служить польскому королю, «пойман на рубеже и привезен в Смоленск и спрашиван; а в расспросе он перед стольником и воеводою, перед князем Борисом Феодоровичем Долгоруким, сказал и в том своем отъезде повинился. А из Смоленска прислан скован к Москве, в Посольский приказ; а из Посольского приказа освобожден для того, что он дал Емельяну Украинцеву двести золотых» (23)... и пр. и пр...

Вот какого рода проделки совершались в древней Руси, вот до какой виртуозности доходили эти простодушные, патриархальные тиуны, дьяки и подьячие, которыми так восхищаются славянофилы, подобные г. Жеребцову.

Но по крайней мере семейная жизнь вознаграждала в древней Руси за все общественные несовершенства! Там царствовал мир и

любовь, там была покорность жен мужьям, благоговение детей пред родителями, домовитость хозяйки, стыдливость и целомудрие девиц, страх божий и чистая любовь к людям. Златоверхий терем, дружеская беседа, патриархальное хлебосольство, идиллическое препровождение времени в кругу семейства и ближайших родных... как все это прелестно и заманчиво!.. Зачем Петр разрушил все это своими балами и ассамблеями, общественными потехами, иноземными манерами и обычаями, оторвавшими древнюю русскую семью от семейной жизни?.. Теперь негде нам найти приют и отдых от разного рода общественных невзгод, одолевающих нас: в собственном семейном быту каждый находит теперь то же самое общество, от которого он хотел бы бежать. О, как вождеделенны для нас эти убежища старинного россиянина, с их теремами и светлицами, с доброй, целомудренной женой и покорными детьми, с медами и наливками!

Но увы! и с этой иллюзией придется расстаться. Мудрено сказать, кто первый и с какого резону вообразил, что в древней Руси

господствовала такая простота и чистота семейной жизни; еще мудренее оставаться теперь в этом заблуждении после всего, что уже было писано о древней Руси. Мы, пожалуй, не станем приводить деликатных ночных похождений Чурила Пленковича; не станем говорить о том, как Тугарин невежливо вел себя за столом князя Владимира, кладя руку за пазуху великой княгине; не обратим внимания даже на то, как эта княгиня, в отсутствие мужа, привлекает к себе в спальню статного молодца, начальника калик перехожих{58}. Все это рассказывается в народных песнях, сложенных про Владимира, и может быть не более как следствием языческого понимания вещей. Не будем вообще говорить о семейной жизни до монголов; во все это время быт народный оставался, очевидно, языческим. В конце XII века, по свидетельству «Церковного правила» митрополита Иоанна{59}, народ полагал, что церковное венчанье нужно только князьям да боярам. «Русская правда» указывает на обычай держать рабынь наложницами («Русские достопамятности», ч. I, стр. 54). Летописи свидетельствуют о князьях, явно дер-

жавших наложниц в XI и XII веках. В «Вопрошаниях Кириловых» (XII век) находится довольно наивный вопрос: «Боже, владыко, и друзии наложници водят яве и детя родят, яко с своею; и друзи с многыми отай водят: которое лучше?» («Памятники российской словесности», 187{60}). Оставим эти времена, оставим и печальный монгольский период и перейдем прямо к XV веку, ко времени оживления Руси при возвышении Московского княжества. Что находим мы здесь, по летописям, законодательным актам и памятникам литературы? Увы, то же, решительно то же самое, только в несколько измененных формах. О наложницах в это время уже упоминается менее; но беспрестанно говорится о насильственном пострижении жен, прогнанных мужьями или убежавших от них, о четвертом, пятом, шестом, седьмом браке, о прелюбодеяниях, насильствах над рабами и т. п. В половине XV века митрополит Иона обличал даже вятчан за вступление в *десятый* брак. («Акты исторические», I, 498. Ср. I, 67, 141, 161, 491, 498). Отношения жены к мужу были таковы, что он мог ее отдавать, прода-

вать, закладывать, предавать в рабство. Законы не постановляли этого, но в актах находятся свидетельства, что это было, и, следовательно, самое положение женщины допускало подобное явление. В одной грамоте начала XVII века пишется: «А иные многие служилые люди, которых воеводы и приказные люди посылают к Москве и в иные города для дел, жены свои в деньгах закладывают у своей братьи, у служилых же и у всяких людей на сроки; и отдают тех своих жен в заклад мужих сами, и те люди, у которых они бывают в закладе, с ними до сроку, покаместа которыхы жены муж не выкупит, блуд творят беззасорно; а как тех жены на сроки не выкупят, и они их продают на воровство же и в работу всяким людям, не бояся праведного суда божия» (Румянцевские грамоты, III, 246){61}. Этакого обращения не одобряли и древнерусские законы. Но тем не менее они подтверждали своим авторитетом тот факт, что жена находится в полной зависимости от мужа. В указе Ивана IV 1557 года запрещается мужу быть душеприказчиком жены на том основании, что жена в его воле: – «что ей велит пи-

сати, то и пишет» («Акты исторические», I, 257). А как достигалось такое послушание жены, можно видеть из некоторых глав творения, в котором ярко отразился семейный идеал древней Руси, – Из «Домостроя». Обязанности идеальной жены, по «Домострою», состояли в том, чтобы все в доме «вымыть, и вытереть, и выскресть, и высушить, и положить в чистом месте»; чтобы «отай от мужа не есть и не пить», во всем ссылаться, как велит муж, «в беседах дурных и пересмешных и блудных речей не слушать и самой не беседовати о том»; «беречь остатки и обрезки», «смотреть за слугами, чтобы они работали, не пили и не шатались». Если жена всего этого не исполняет, то муж, сказавши сначала кротко, должен ее и плетью постегать, только не перед людьми, а наедине; постегавши же, можно «и пожаловати». При этом сообщаются следующие правила относительно сбережения жены в целостности при наказании ее: «А про всякую вину по уху, ни по виденью не бити; ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом не колоть, никаким железными и деревянным не бить. Кто с сердца или с кручины так

бьёт, многие притчи оттого бывают: слепота и глухота, и руку и ногу вывихнут, и перст, и главоболие, и зубная болезнь; а у беременных жен и детем повреждение бывает в утробе. А плетью, с наказанием, бережно бити; и разумно, и больно, и страшно, и здорово» («Домострой», глава 38, стр. 68{62}). Такие предписания были во второй половине XVI века высшей степенью гуманности, до которой только могли возвышаться лучшие люди, подобные Сильвестру, автору «Домостроя». При таком положении жены пред мужем нечего, кажется, и говорить об отношениях детей. В судебнике Ивана IV сделаны некоторые ограничения права отца продавать своих детей (статья 76). Герберштейн говорит, что отец до трех раз мог продавать сына, и он опять все возвращался под власть отца; если же, будучи продан в четвертый раз, он получая свободу, то уже избавлялся от отцовской власти («Reg Mosc», 34){63}. Известие это оспаривают некоторые; но что же удивительного, если и в самом деле существовал такой обычай? По характеру семейных отношений в древней Руси это очень возможно.

По крайней мере хоть одного нельзя ли оставить за древней Русью: полного сохранения чистоты девства и супружеской верности? Нет, и того нельзя. Не говоря о том времени, когда языческие понятия владели всем семейным бытом, вот что делалось в XVI веке, по свидетельству «Стоглава», как оно приведено у Карамзина (том XI, прим, 830): «О Иване дни, в навечерие рождества Христова и крещения сходятся мужи, и жены, и девицы на ночное плещование, и на бесчинный говор, и на скакание, и бывает отрокам осквернение и девам растление. И егда ночь мимоходит, отходят к реце с велким кричанием, и умываются водою, и егда начнут заутреню звонити, тогда отходят в дома своя и падают, яко мертвы, от великого клопотанья. В троицкую субботу сходятся мужи и жены на *жалы-никах* и плачутся по гробам с великим кричанием, и егда начнут играти скоморохи, гудцы и причудницы, они же, от плача преставще, начнут скакати и плясати и в долони бити». Вы скажете, что и тут выражается только влияние языческого поверья; но как бы то ни было, а «ночное плещованье» совершалось.

Да если хотите, можно представить и другие примеры, без всякого уже отношения к язычеству. Раскройте Желябужского: «Петр Кикин бит кнутом за то, что он девку растлил» (стр. 7); «Пытан Володимер Федоров, сын Замыцкой, в подговоре девок, по язычной молвке Филипа Дивова» (13); «Приведены в Стрелецкий приказ Трофим да Данила Ларионовы с девкою в блудном деле его жены, в застенок, и они повинились в застенке в блудном деле. А сказали: что они с девкою блудно жили. Одному учинено наказанье пред Стрелецким приказом, вместо кнута бить батоги; а другого отослали в Патриарший приказ, для того что он холостой» (стр. 22); А «на Царицыне бит кнутом нещадно Иван Петров, сын Барте-нев, за то, что брал взятки; так же брал женок и девок на постелю» (стр. 53). Можно повернуть дело так, что наказание кнутом за подобные преступления скорее говорит о чистоте нравственности в обществе, нежели о его развращении. Но ведь это так случилось, что попались эти люди; а что их били кнутом, так это вовсе не диковинка: кого же не били кнутом в древней Руси? Но не всегда же попада-

лись под суд люди, любившие пожуировать тогда. В «Актах юридических», изданных г. Калачовым (том I, стр. 555{64}) помещено духовное завещание одного почтенного отца семейства, который говорит, что он «раб есть греху, наипаче же всех блудному», отпускает на волю нескольких женщин, живших у него в доме, и в заключение просит у всех прощения. Умилительный тон его просьбы может растрогать поклонников древней Руси: «также и сирот моих, которые мне служили, мужей их и жен, и вдов, и детей, чем будет оскорбил во своей кручине, боем по вине и не по вине, и к женам их и ко вдовам насильством, девственным растленьем, а иных есми грехом своим и смерти предал; согрешил во всем и перед ними виноват». Если вы скажете, что и это исключительный случай, то придется для вас сделать выписку из «Домостроя», где говорится, чтобы слуги хорошо жили с женами и

чтобы жены их баб бы не слушали, кои на зло потворяют младые жоны, сиречь которые сваживают с чужими мужьями, и наипаче их учат красти, и

бл....., и всему злу. И много слышах от баб потворенных, которые бегают, покрадши государя и государыню (господина и госпожу) со многим именованием, жонки и девки с чужими мужики. И егда возмет у нее с чем сбежала, и ее убьет или в воду посадит, а именование твое изгинет. Аще ли ти неверно мнится о таковых бабах, то како в дом твой прийти мужику незнаему? Или женка и девка по воду пойдут, или платье мыть, и с мужиком начнут говорити? Аще и знаем будет, оне же срамятся с ним и созретися, занеже с мужиком, а не с своим мужем говорити; а бабе всегда ей время говорити тишком о каковом деле. Учинится она торговкою, и пришед и пытается у них: «Надобе ли вам то или иное? Или государыне вашей?» И оне у нее пытаются: есть ли то? и она ж молвит: «Есть». И оне, девки и жонки, молодые: «Дай, мы покажем государыне». И она же отмолвится: «Дела семь то и то жене доброй, того и того»; и скажет человека доброго же, еще и по имени; а все лжет. «И яз, кунка, иду да у нее возьму, и к вам принесу». И оне ей дари запре-

тят: «Принеси к нам до обеда же, или как вечерню поют». Баба же молвит: «У, кунки, знаю, как к вам прийти; то вы государя блюдетесь». И отойдет от них; и нейдет к ним день или два; по дни жь, по другом, к двору жь к ним нейдет и стережет их, как пойдут на реку по воду или платья мыти. Баба же пойдет, рекше, мимо; оне же ее скличут и молвят ей: «О чем к нам не бывала и ни принесла, что хотела принести?» Баба же к ним удивится вельми и молвит: «Вчера и третьево дни была есми у тое и у тое жены добрые, – и мужа имя скажет; и у них был пир; и она, кормилица, меня не отпустила; и почесала семи у нее с ее служками и девками; а тамо есмь и не поспела ходити; меня жалуют многие жены добрые». И оне жь ей молвят: «Принеси же к нам!» – и с запрещением великим... Да не плету много! Сими деды бабы опознаваются с женками и с девками служащими. И начнет с ними отай баба, с нею же опознаваются, невозбранно стояти и говорити, на реке и встречу. Аще и государь осмотрит, – оне же с женой, а не с мужчи-

ною стоят. И потом начнет к ним и ко двору приходити; оне же опознавают ее и с государынею своею. Горе мне! Вся есми прельщени от общего врага дьявола; нашим оружием побеждени бываем. Дерзну рещи: блаженная Феодора Александрийская не от жены ли прельщена, ложе мужа своего не сохрани? («Домострой», глава 22, стр. 35).

Или и этого изображения еще не довольно? Так загляните в Кошихина (глава XIII, стр. 118–125). Он изображает очень подробно и откровенно всю процедуру женитьбы в старинной Руси, заставившую его воскликнуть из глубины души, что «нигде во всем свете такого на девки обманства нет, яко в Московском государстве»...

А после Кошихина можете, пожалуй, доставить себе утешение чтением сочинения г. Жеребцова. Оно действительно забавно покажется после тех мрачных впечатлений, какие вы вынесете из чтения источников.

Итак, в древней Руси ничего не было хорошего? – спросят нас в заключение. Отчего же не быть, ответим мы: вероятно, что-нибудь, а

может быть, и очень многое, – было хорошо. Мы ведь вовсе не хотели доказать подбором фактов, приведенных нами, что *только* такие факты и были возможны в древней Руси. Мы выбрали их только для того, чтобы показать, что *и такие* факты бывали, да и нередко... Да и много ли мы выбрали-то? Можно ли по этому сделать решительное заключение о *всей* жизни, о *всех* сторонах ее? Конечно, нельзя, в мы вовсе не стремились к этому. Нам нужно было только представить оборотную сторону медали, так спесиво показываемой писателями, подобными г. Жеребцову. Мы и показали ее, сколько успели. Форму общего очерка, а не отдельных, отрывочных заметок на г. Жеребцова мы выбрали потому, что хотели обратить свое опровержение не лично на г. Жеребцова, которого книга уж слишком нелепа, а вообще на те мнения о древней Руси, которых он считает себя поборником. Признаемся, возиться непосредственно с «Опытом» г. Жеребцова было бы для нас слишком утомительно и неприятно, хотя мы и знаем, что наши замечания и цитаты чрезвычайно много выиграли бы в своей яркости

и силе, если бы сопоставлены были с восхитительными фантазиями г. Жеребцова.

Тогда мы могли бы избежать и упрека в односторонности, которому, вероятно, подвергнемся теперь. Тогда наши замечания имели бы просто вид ограничения тех положений, которые самоуверенно и восторженно высказывает г. Жеребцов. Теперь, напротив, могут сказать, что мы составляли свой очерк, руководимые одностороннею неприязнью к старине и пристрастием к новой Руси. Конечно, отчасти упрек этот будет и справедлив: само собою разумеется, что мы были односторонни в своих заметках. Мы взяли на себя роль обвинителя древнерусского развития, и мы выставляли только то, что служит к его обвинению. Но и при этом мы остались все-таки менее односторонни, чем безусловные хвалители допетровской Руси. Мы по крайней мере не делали двух вещей, которые они делали: 1) не обращали в обвинение того, что должно служить к похвале, и 2) называя дурным один предмет, не восхищались безусловно другим, искусственно ему противопоставленным. Признавая живую и непосредственную связь

древней Руси с новою, мы вовсе не восторгаемся новым потому только, что оно не старое. Давно уже прошло время школьных контроверсий на темы: Какой возраст всех счастливее? Какое время дня приятнее? Что лучше – утопиться или повеситься? страдать чахоткой или аневризмом? и т. п. Пора бы кинуть и эти, давно всем надоевшие, контроверсии о том, что благороднее и приятнее, *мшелоимство* или взяточничество, *резоимание* или ростовщичество, *скакание* и *клопотание* или тайны, и т. п. Уверьтесь же, наконец, что все это забавное школьничество, пустой спор о словах и формах, а не о деле. В сущности, наша история никогда не обрывалась и не могла оборваться. Как ни крут и резок кажется переворот, произведенный в нашей истории реформою Петра, но если всмотреться в него пристальнее, То окажется, что он вовсе не так окончательно порешил с древнею Русью, как воображает, с глубоким, прискорбием, большая часть славянофилов... Древняя Русь не могла внезапно исчезнуть вместе с обритыми бородами. Она вовсе не так далеко от нас, чтоб представлять ее нам каким-то раем зе-

мяым, населенным чуть ли не ангелами. Поверьте

*И прежде плакал человек,
И прежде кровь лилась рекою{65}.*

И после нас опять будет плакать человек и кровь будет литься. Что же делать? От этого грустного обстоятельства не спасешься допотопными иллюзиями. Действительность напомнит о себе и покажет, что решительно не стоит убиваться из-за того, ежели в древности бояре в думе «сидели, брады свои убавя», а ныне чиновники в разных местах сидят, во все бород не имея... Ведь они и без бород так же точно думают и точно так же дело делают, как прежде делали с бородами. О чем же хлопотать-то? Ведь форма решительно ничего не значит. Рассаживать ли гостей по местническим счетам или по табели о рангах, и то и другое равно скучно. Сходиться ли с мужчинами отай, через баб, или въявь, самим по себе, – и то и другое равно приятно. Отдадим же древней Руси справедливость хотя в том, что она ничуть не хуже, чем новая, умела внести скуку во все официальные отношения и уме-

ла изыскивать средства для пользования за-
прещенными приятностями жизни. Зачем
так отодвигаться от наших предков, смотря в
уменьшительное стеклышко на их жизнь, со
всеми ее пороками и слабостями? Посмотрим
на них простыми глазами и не будем сму-
щаться, если они окажутся ближе к нам,
нежели мы хотели бы. Неужели мы позволим
себе испугаться, что через это сократится дли-
на нашей генеалогии? Пора бы уж нам, ка-
жется, смотреть на это равнодушно и, оста-
вивши предков в покое, подумать несколько
серьезно о том, на что мы сами-то годны. Для
поддержки же генеалогических тенденций
всегда найдутся люди, подобные господину
Николаю Жеребцову.

Примечания

Условные сокращения

Все ссылки на произведения Н. А. Добролюбова даются по изд.: Добролюбов Н. А. Собр. соч. в 9-ти томах. М. – Л., Гослитиздат, 1961–1964, с указанием тома – римской цифрой, страницы – арабской.

Белинский – Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. I–XIII. М., Изд-во АН СССР, 1953–1959.

БДЧ – «Библиотека для чтения»

ГИХЛ – Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч., т. I–VI. М., ГИХЛ, 1934–1941.

Изд. 1862 г. – Добролюбов Н. А. Сочинения (под ред. Н. Г. Чернышевского), т. I–IV. СПб., 1862.

ЛН – «Литературное наследство»

Материалы – Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861–1862 гг. (Н. Г. Чернышевским), т. 1. М., 1890 (т. 2 не вышел).

ОЗ – «Отечественные записки»

РБ – «Русская беседа»

РВ – «Русский вестник»

Совр. – «Современник»

Чернышевский – Чернышевский Н. Г.
Полн. собр. соч. в 15-ти томах. М., Гослитиздат, 1939–1953.

Впервые – *Совр.*, 1858, № 10, отд. II, с. 121–154; № 11, отд. II, с. 1–50; подпись «– бов». Первая часть статьи прошла без существенных цензурных изменений, а во второй части Добролюбову пришлось по требованию духовной цензуры несколько сгладить характеристику «византийского влияния», которое у него служит обозначением официальной церковности (подробнее цензурная история статьи изложена Н. И. Соколовым – см.: III, 512–514). В изд. 1862 г. был восстановлен первоначальный текст статьи.

Н. А. Жеребцов – публицист славянофильской ориентации, крупный чиновник (в частности, служил вице-директором департамента в Министерстве государственных имуществ, виленским гражданским губернатором, был членом Совета министра внутренних дел). В студенческой рукописной газете «Слухи» Добролюбов сочувственно упомина-

ет Жеребцова как автора поданной Александру II и ходившей по рукам в Петербурге записки о злоупотреблениях бюрократии и необходимости гласности (I, 155–157; в № 6 «Русской старины» за 1896 г. была опубликована записка «О современной политической и внутренней жизни России», написанная в середине 1850-х гг. и приписываемая Жеребцову; судя по изложению содержания записки Жеребцова в «Слухах», Добролюбов имел в виду другой документ).

«Опыт истории цивилизации в России» привлек внимание Добролюбова как попытка систематического приложения славянофильских исторических взглядов к конкретному материалу, позволявшая наглядно продемонстрировать их антинаучный характер: произвольное противопоставление разных сторон исторического прогресса – духовной и социальной, односторонний подбор фактов, «подтягивание» их к концепции и т. п. Вместе с тем Добролюбов показал, что за славянофильской фразеологией скрываются аристократические амбиции и феодальные симпатии Жеребцова. Добролюбов чутко уловил усвоение

славянофильства официальным сознанием, в рамках которого оно из оппозиционного идейного течения превращалось в расхожее охранительное умонастроение. Подлинным приобретением демократической мысли является рассуждение Добролюбова о патриотизме, в котором он видит форму деятельной любви ко всему человечеству, и псевдопатриотизме, который превознесением своего отечества и охаиванием других народов прикрывает корыстную связь с существующим общественным злом.

Статья Добролюбова встретила горячее одобрение его единомышленников (см. отзыв А. С. Зеленого – «Переписка Чернышевского с Некрасовым, Добролюбовым и А. С. Зеленым, 1855–1862». М.-Л., 1925, с. 134, и И. И. Бордюгова – Материалы, с. 491). Вместе с разгромной рецензией Е. П. Карновича (ОЗ, 1858, № 10, 11) она определила литературную репутацию Н. А. Жеребцова, вопреки похвалам консервативной печати (рецензия Н. И. Греча – Северная пчела, 1858, 22 сентября, № 207; С. П. Шевырев. История русской словесности, ч. III. М., 1858, с. XXI–XXII). Об этом свидетельствует, в

частности, оценка книги, подводящая итог ее обсуждению: «Произведение дилетантизма, ложного патриотизма и невежества» (Московское обозрение, 1859, кн. 1, с. 16; см. также статью Добролюбова «Литературные мелочи прошлого года», наст. изд., т. 2).

Сноски

1

«Я ее оставила на свободе, потому что она хорошо ходила позади моих детей» (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

2

предпочтения (от *фр.* predilection). – *Ред.*

[^^^]

3

«Народ в высшей степени католический, монархический и воинственный»{66} (фр.). – *Ред.*

[^^^]

4

«Старая русская партия» (фр.). – *Ред.*

[^^^]

5

Недостаток знания (фр.). – *Ред.*

[^^^]

6

«Аналитическое резюме» (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

7

Господин камергер (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

8

«Современник» (*фр.*). – *Ред.*

[^^^]

Чрезвычайно забавно читать глубокомысленные замечания г. Жеребцова о русской журналистике и, между прочим, о «Современнике» и «Отечественных записках» и вслед за тем видеть, что автор не умеет или не хочет даже различить эти два журнала. Вот оглавление апрельской книжки «Современника», говорит он, и – перепечатывает на трех страницах (304–306) оглавление «Отечественных записок»! Кстати, заметим здесь еще ошибку г. Жеребцова, касающуюся «Современника». Он говорит: «Общество молодых литераторов купило журнал Свинына «Отечественные записки» (le Memorial National), и редакция его была поручена гг. Краевскому и Панаеву» (стр. 301). Это несправедливо: г. Панаев никогда не был редактором «Отечественных записок», хотя и находился в весьма близких отношениях к их редакции в первые годы их существования. Не можем не заметить также ложности мысли г. Жеребцова, будто бы «Отечественные записки» в сороковых годах, при Белинском, издавались «в ущерб вере, народ-

ности и даже патриотизму» (стр. 302). Это грубая клевета. Русская публика знает, как благородно было направление Белинского, какой любовью к России дышат все статьи его. Конечно, патриотизм «Отечественных записок» не выражался в таких пышных и бесплодных возгласах, как, например, в книге г. Жеребцова. Но никто не может упрекнуть «Отечественные записки» времени Белинского в отсутствии того благородного, деятельного, истинного патриотизма, о котором говорили мы в прошедшей статье. Мы с глубоким негодованием и отвращением отмечаем здесь эту клевету на одного из лучших двигателей современного развития русского общества! *Да будет стыдно господину Николаю Жеребцову!*

Может быть клевета г. Жеребцова произошла *по неведению*, которое он так часто обнаруживает в своей книге. Но говорить о том, чего не знаешь, считается признаком неосновательности и пустоты даже тогда, когда ложные суждения безвредны и никого не хотят очернить. А если они посягают на репутацию другого, то уже означают нечто гораздо худшее, чем пустая неосновательность. Не меша-

ло бы г. Жеребцову быть несколько поосмотрительнее, особенно в отношении к литературе. А он с нею-то и не церемонится. Он, например, вот как соединяет имена русских поэтов; Дмитриев, Батюшков, Грибоедов, князь Вяземский, Марлинский, Лермонтов, Хомяков и Майков!!! (том II, стр. 261). И более о Лермонтове ни слова!.. В числе романистов – Булгарин и Загоскин, и нет Лажечникова! (том II, стр. 278). Сахаров и Калачов отмечены как издатели русских пословиц (том I, стр. 190). Между натуралистами изображены такие, как, например, гг. Горянинов, Глухов, граф Кайзерлинг, и не упомянуты, например, гг. Брандт, Рулье, Северцов, Савельев и др. Подбор замечательных деятелей в науках исторических и нравственных сделан так дико, что его нельзя даже приписать неведению, и потому мы говорим о нем далее. Теперь же, как венец подвигов г. Жеребцова в небрежности и самоуверенной бесцеремонности с литературой, приведем следующий факт. Каждому из наших читателей памятно, конечно, знаменитое «*слышу!*», которым Тарас Бульба у Гоголя отвечает на предсмертный вопль каз-

нимого сына. Г-н Жеребцов, рассказывая содержание «Тараса Бульбы», вот как передает это «*слышу!*»: «При каждом обороте колеса Тарас чувствует на себе все муки казнимого сына, наконец, не могши более выдержать, он издает крик: «Хорошо, сын мой!» Остап перед смертью узнает голос своего отца и отвечает: «Отец, я тебя слышу» (том II, стр. 284). К этому факту прибавлять нечего: он свидетельствует в одно время и о том, как г. Жеребцов *знает* русскую литературу, и о том, как он *понимает* ее явления.

[^^^]

Свободные искусства (*лат.*). – *Ред.*

[^^^]

[^^^]

Комментарии

1

Имеется в виду кн.: А. Гакстгаузен. Исследование внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России, ч. 1–3. Ганновер – Берлин, 1847–1852 (на нем. и франц. яз.). На русском языке вышел лишь первый том этого труда (М., 1869). Ранее Чернышевский в «Современнике» (1857, № 7) привел большие выдержки из этой книги в поддержку своего мнения о необходимости сохранения общинного землевладения (Чернышевский, IV, 303–348). Упоминается также «История государства Российского» (т. 1–12, 1816–1829) Н. М. Карамзина.

[^^^]

2

Парижским мирным договором 1856 г. завершилась Крымская война (1853–1856).

[^^^]

3

Таможенный тариф 1857 г., снизивший пошлины на импорт, развивал намеченную тарифом 1850 г. линию на смягчение политики строгого протекционизма, проводившуюся правительством Николая I.

[^^^]

4

В 1857 г. было создано Главное общество российских железных дорог, членами которого в основном были иностранные банкиры. Этому обществу была выдана концессия на строительство четырех железных дорог в России.

[^^^]

5

С 1856 г. в Петербурге начал выходить журнал «Собрание иностранных романов, повестей, рассказов, в переводе на русский язык» (издатель-редактор – Е. Н. Ахматова).

[^^^]

6

Возможно, имеются в виду очерки П. М. Шпилевского «Путешествие по Полесью и Белорусскому краю», печатавшиеся в «Современнике» (1853, № 6–8; 1854, № 11; 1855, № 7). Приведенной Добролюбовым фразы там нет, но общий смысл и тон очерков именно такой: Белоруссия рисуется как край изобилия и довольства.

[^^^]

7

Добролюбов пересказывает строки из верно-подданнического стихотворения В. Г. Бенедиктова «Встречный голос» (1857).

[^^^]

Речь идет о кн.: Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях, ч. 1–6. СПб., 1837. Действительным автором этого труда, присвоенного Булгаринным, был молодой ученый Н. А. Иванов. Издание остановилось после выхода в свет первых четырех томов по истории, доведенной до 1054 г., и первых двух томов по статистике. Неудача издания в значительной степени определялась уровнем тогдашней науки, а также невозможностью осуществления такого масштабного замысла силами одного человека.

[^^^]

9

Из стихотворения В. А. Жуковского «Певец во стане русских воинов» (1812).

[^^^]

10

Парафраз строк Пушкина из стихотворения «Клеветникам России» (1831):

*Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?*

[^^^]

11

Д. Лоу (шотландец по происхождению), считавший, что главным фактором экономического прогресса является развитие кредита, которое можно стимулировать неограниченным выпуском бумажных денег, в 1716–1720 гг. пытался осуществить свои идеи во Франции, но потерпел неудачу.

[^^^]

12

Воспитанный на идеях французских просветителей, Лафайет с энтузиазмом встретил весть о провозглашении независимости американских колоний Англии, отправился в Америку во главе отряда добровольцев и в 1777–1783 гг. принимал участие в войне с Англией.

[^^^]

13

Ост-Индская компания была ликвидирована в 1858 г., в период индийского национального восстания 1857–1859 гг. («восстания сипаев»).

[^^^]

14

Имеются в виду лекции «История цивилизации во Франции» (1829–1832; русский перевод – т. 1–4. М., 1877–1881) Ф. Гизо.

[^^^]

15

Речь идет о диссертации О. Ф. Миллера «О нравственной стихии в поэзии на основании исторических данных» (СПб., 1858), которой Добролюбов посвятил специальную рецензию (см. наст. т., с. 658–670).

[^^^]

16

О *народном* или *русском* воззрении см. примеч. 4 к статье «Губернские очерки» (с. 800 наст. т.).

[^^^]

17

Смысл добавления Добролюбова становится понятным, если учесть распространенное тогда мнение о склонности гасконцев к хвостовству.

[^^^]

18

Имеется в виду книга сторонника идей Великой Французской революции Ф. Вейсса «Принципы философии, политики и морали», пользовавшаяся в свое время популярностью (русские переводы – СПб., 1807; М., 1837; СПб., 1881).

[^^^]

Мнение об «эkleктизме» как отличительной черте русского народного характера выражено в статье Н. Ф. Павлова «Биограф-ориенталист» (*РВ*, 1857, март, кн. 2; отд. изд. – М., 1857), направленной против статьи В. В. Григорьева «Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве». Статья вызвала резкую критику со стороны П. С. Савельева (см. примеч. 5 и 16 к статье «Николай Владимирович Станкевич», наст. т., с. 827 и 828).

[^^^]

Жеребцов имеет в виду свод византийского права (*Corpus juris civilis*), составленный по приказу императора Юстиниана в VI в. и оказавший влияние на феодальное законодательство многих стран Европы. Приводимая Жеребцовым легенда о славянском происхождении Юстиниана не имеет оснований. Прокорий (в «Тайной истории»; ок. 560 г.) говорит о неграмотности императора Юстина – дяди Юстиниана; последний получил хорошее образование.

[^^^]

21

Речь идет о статье В. А. Кокорева «Взгляд русского на европейскую торговлю», опубликованной в брюссельской газете «Le Nord» (перевод – *РВ*, 1858, март, кн. 1; отд. изд. – М., 1858). Предпринимательской деятельности В. А. Кокорева посвящена статья Добролюбова «Опыт отучения людей от пищи» в «Свистке» (VII, 438–460).

[^^^]

22

Слова персонажа «Губернских очерков» М. Е. Салтыкова-Щедрина Горехвастова (очерк «Горехвастов», раздел «Талантливые натуры»).

[^^^]

Имеются в виду картины общественных злоупотреблений, нарисованные в «Губернских очерках» М. Е. Салтыкова-Щедрина (1856–1857), рассказах и очерках П. И. Мельникова-Печерского («Поярков», «Медвежий угол» (1857), «Именинный пирог» (1858) и др.), И. В. Селиванова («Провинциальные воспоминания. Из записок чудака». – *Совр.*, 1856, № 11; 1857, № 3, 5), повести В. Н. Елагина «Откупное дело» (*Совр.*, 1858, № 9, 10).

[^^^]

24

Эти утверждения содержатся в книге Е. Ф. Розена «Отъезжие поля» (СПб., 1857; см. с. 30–35, 141–142). По-видимому, Добролюбову принадлежит рецензия на эту книгу (*Совр.*, 1857, № 12; см. Оксман Ю. Г. Старые и новые собрания сочинений Н. А. Добролюбова. – В кн.: Добролюбов Н. А. Русские классики. М., 1970, с. 559–560).

[^^^]

25

Критика далеких от науки представлений А. Ф. Вельтмана о древнейшем прошлом славянских племен дана Добролюбовым в рецензии на его книгу «Аттила и Русь IV и V века» (II, 335–339). Ошибку в толковании родственных связей Бориса Годунова и царя Федора Ивановича А. Ф. Вельтман допустил в статье «Исторический взгляд на крепостное состояние в России» (*Журнал землевладельцев*, 1858, № 1, отд. 2, с. 2). Мнение о том, что славянские го-

сударства существовали до Троянской войны (по археологическим данным – сер. XIII в. до п. э.), высказало не Вельтманом, а Е. И. Класе-ном в книге «Новые материалы для древней-шей истории славян вообще и славяно-руссов в особенности; с легким очерком истории рус-сов до Рождества Христова» (М., 1854), где он, в частности, доказывал, что жители Трои бы-ли славянами и что создателем «Илиады» был Боян.

[^^^]

26

Неточный пересказ отрывка из книги С. П. Шевырева «Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь» (ч. I. М., 1850, с. 55).

[^^^]

27

Стрыйковский М. Хроника польская, литовская, жмудская и всей Руси. Кенигсберг, 1582.

[^^^]

28

Годуновы не были князьями, они происходили из костромских дворян; присоединение Грузии к России началось с Георгиевского трактата 1783 г.; Кавказ был присоединен в ходе Кавказской войны 1817–1864 гг.

[^^^]

29

Лешков В. Н. Русский народ и государство. История русского общественного права до XVIII в. М., 1858.

[^^^]

30

Новгород впервые упоминается в летописях под 859 г.

[^^^]

31

Капитулярии – указы Карла Великого, направленные на укрепление франкской империи и ее феодального строя.

[^^^]

32

Жеребцов представляет историю Новгорода в совершенно извращенном виде, относя период его расцвета ко времени до Рюрика, который, по летописному преданию, правил в Новгороде в IX в. В действительности, Новгородская феодальная республика возникает в XII в., переживает расцвет в XIV–XV вв. и прекращает свое существование в конце XV в.

[^^^]

Одной из основных черт системы «спартанского воспитания», введение которой, как и других общественных институтов древней Спарты, приписывалось легендарному законодателю Ликургу, являлась полная изоляция детей от семьи с семилетнего возраста. Ограждение детей от влияния старшего поколения в закрытых учебных заведениях, созданных при Екатерине II, должно было, по мысли И. И. Бецкого, руководившего реформой общественного образования, способствовать созданию «новой породы людей», не зараженных пороками общества.

[^^^]

Имеется в виду А. Н. Муравьев, автор многочисленных духовных книг, пользовавшихся успехом в светском обществе, например: «Письма о богослужении Восточной католической церкви» (СПб., 1836; 11 изданий), «История российской церкви» (СПб., 1838; 4 издания), «Жития святых российской церкви» (СПб., 1855–1858). См. также IV, 278–284, 405–409.

[^^^]

35

Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Последнее новоселье» (1841).

[^^^]

36

«*Степенная книга*» – памятник русской исторической литературы XVI в., представляет собой попытку систематического изложения русской истории в официально-монархическом духе; включает легендарные сведения о происхождении русских князей от императора Августа и т. п. Составлена на основании летописей духовником Ивана Грозного Андреем.

[^^^]

37

И. К. Айвазовский в 1857 г. получил орден Почетного легиона за картину «Четыре богатства России», демонстрировавшуюся на Парижской выставке.

[^^^]

38

Книга А. Б. Лакиера «Русская геральдика» (ч. 1–2. СПб., 1855) вызвала отрицательный отзыв Чернышевского (*Совр.*, 1855, № 3).

[^^^]

Статья М. И. Сухомлинова «О языкознании в древней России» напечатана в «Ученых записках второго Отделения АН», 1854, кн. I; отд. изд. – СПб., 1854.

[^^^]

Речь идет о выступлении Н. И. Крылова на диспуте в Московском университете против магистерской диссертации Б. Н. Чичерина «Областные учреждения в России в XVII веке» (1856), в которой была нарисована неприглядная картина системы управления в допетровской России. Крылов, близкий по своим взглядам к славянофилам, утверждал, что к истории Древней Руси нельзя подходить с критериями и методами европейской науки, как это делает Чичерин, что иметь особое «сочувственное» отношение к предмету исследования историка важнее, чем хорошо знать источники (см.: *РВ*, 1857, № 1, 2). Чичерин в сво-

ем ответе показал, что проповедуемый Крыловым способ исторического исследования носит мистический, т. е. антинаучный характер (*РВ*, 1857, август, кн. 2; сентябрь, кн. 1).

[^^^]

41

Речь идет о басне И. А. Крылова «Гуси» (1811).

[^^^]

42

Из сатиры А. Д. Кантемира «На зависть и гордость дворян злонаправных. Филарет и Евгений» (1730).

[^^^]

43

Римский полководец Лукулл и римский император Виттелий прославились роскошью и расточительностью. Имя Лукулла стало нарицательным («лукуллов обед»).

[^^^]

44

Добролюбов цитирует «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина по 5-му изданию (т. 1–3. СПб., 1842–1843).

[^^^]

45

Филарет (Д. М. Гумилевский). Обзор русской духовной литературы. Харьков, 1857.

[^^^]

46

Паисиевский сборник – рукопись конца XIV – начала XV в., содержащая отрывки из сочинений отцов церкви и др.

[^^^]

47

«Слово некоего Христолюбца и ревнителя по правой вере». Опубликовано в «Обзоре» Филарета (см. примеч. 46) на с. 69–70.

[^^^]

48

«Стоглав» – сборник постановлений собора 1551 г. – совещания высшего духовенства во главе с царем Иваном Грозным по вопросам внутрицерковной жизни и взаимоотношений церкви с государством. Свое название сборник получил по количеству глав, на которые он разделен.

[^^^]

49

Из стихотворения А. С. Пушкина «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...», 1830).

[^^^]

50

См. примеч. 26. В «Современнике» была опубликована отрицательная рецензия на книгу Е. И. Классена (1854, № 9).

[^^^]

51

Речь идет о диссертации Б. Н. Чичерина «Областные учреждения в России в XVII веке» (М., 1856).

[^^^]

52

См. примеч. 41 к статье «О степени участия народности...» (наст. т., с. 815).

[^^^]

См. примеч. 67 к статье «О степени участия народности...» (наст. т., с. 817).

[^^^]

Такое представление было характерно для славянофилов. Л. С. Хомяков, напр., утверждал, что «крепостное состояние введено Петром Первым» (Хомяков А. С. Полн. собр. соч., т. I. М., 1878, с. 364).

[^^^]

55

В статье «Некоторые общие черты будущего сельского управления» (Сельское благоустройство, 1858, кн. 3, № 9) князь В. А. Черкасский выступил за сохранение права помещика и после освобождения крестьян подвергать их наказанию розгами, чем вызвал возмущенные отклики в печати.

[^^^]

56

«*Временник*» – «Временник Московского общества истории и древностей Российских», издавался в 1847–1857 гг.

[^^^]

Уложение – «Соборное Уложение» 1649 г., свод законов Русского государства, обобщивший правовую практику за сто лет со времени Судебника Ивана Грозного (1550) и включивший ряд новых законоположений, закреплявших сословную структуру общества.

[^^^]

Добролюбов упоминает эпизоды из следующих былин, вошедших в сборник «Древние российские стихотворения» Кириши Данилова: «Чурила Пленкович», «Алеша Попович», «Сорок калик со каликою».

[^^^]

59

«Правило церковное» митрополита Иоанна относится К концу XI в.

[^^^]

60

Памятники российской словесности XII века, изданные о объяснении, вариантами и образцами почерков. М., 1821. Издание подготовлено К. Ф. Калайдовичем.

[^^^]

61

Румянцевские грамоты – «Собрание государственных грамот и договоров» (ч... 1–4. М., 1813–1828), изданное по инициативе и на средства графа Н. П. Румянцева.

[^^^]

62

См. примеч. 38 к статье «О степени участия народности...» (наст. т., 815). Добролюбов цитирует «Домострой благовещенского попа Сильвестра» (М., 1849).

[^^^]

63

«Rerum Moscovitarum Commentarii» – «Записки о московитских делах» (1549) С. Герберштейна, в 1517 и 1526 гг. посетившего Россию в качестве посла германского императора (первый русский перевод – М., 1847).

[^^^]

64

«Акты, относящиеся до юридического быта древней России», под ред. Н. Калачова (т. I. СПб., 1857).

[^^^]

65

Неточная цитата из стихотворения Н. М. Карамзина «Опытная Соломонова мудрость, или Мысли, выбранные из Экклезиаста» (1796).

[^^^]

66

Неточная цитата из речи Наполеона III, произнесенной им 20 августа 1858 г. в г. Ренн в Бретани (см. *Politique imperiale, exposee par les discours et proclamations de l'empereur Napoleon III...* Paris, 1865, p. 284).

[^^^]

[^^^]